ВЕЧНАЯ КЛАССИКА В СТИЛЕ МАНГИ



НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Мертвые души
Николай Васильевич Гоголь

Аннотация
Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души
Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: сатира и проповедь
К читателю от сочинителя
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI

Аннотация

«Мертвые души» – поэма, ставшая вершиной творчества Николая Гоголя, в полной мере раскрывшая его сатирический талант.

В этой книге вы найдете не только полный текст произведения, но и вступительную статью, комментарии профессора Московского городского педагогического университета, которые помогут вам подготовиться к экзаменам.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Николай Васильевич Гоголь
Мертвые души

© Белоусова Е. Н., иллюстрации, 2024
© Оформление, вступительная статья, комментарии. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Machaon®

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: сатира и проповедь

Н. В. Гоголь впервые упомянул о «Мертвых душах» в письме к А. С. Пушкину от 7 октября 1835 года. Замысел будущей поэмы развивался параллельно с началом работы над пьесой «Ревизор», к которой писатель приступил осенью того же года; ради ее завершения он на время отложил идею новой поэмы. Оба главных произведения Гоголя связаны с творческим взаимодействием с Пушкиным, рассказавшим комический случай о мнимом ревизоре и убедившим Гоголя «приняться за большое сочинение» после выхода его малой прозы: «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831, 1832), «Миргорода» (1835) и сборника разножанровых произведений «Арабески» (1835).

И «Ревизор», и «Мертвые души» имеют сатирическую, обличительную доминанту, за которой читателю, обращающемуся к произведениям не единожды, открывается нравственная и религиозно-философская проблематика. В «Мертвых душах» Гоголь принципиально укрупнил художественную задачу и показал не один уездный

город, как в «Ревизоре». По его словам, у него появилась «полная свобода изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров».

Отчасти похожи и главные герои произведений — Хлестаков и Чичиков. Однако если Чичиков действительно авантюрист и аферист, своего рода «разбойник» (что находит параллели во включенной в «Мертвые души» «Повести о капитане Копейкине»), то Хлестаков не обманывает сознательно, он с исключительной чуткостью следует ожиданиям напуганных известием о приезде ревизора чиновников.

«Мертвые души» (название произведения было найдено сразу) Гоголь сначала считал романом, но вскоре дал другое определение — поэма. Писателю удалось создать новаторскую поэму в прозе. Возникновение нового жанра, вероятно, тоже связано с художественным диалогом, который на протяжении всей своей жизни вел Гоголь с Пушкиным. «Евгений Онегин» в жанровом плане назван его автором *романом в стихах* — формулировка уникальная, так как романы писались в прозе, а ведущим крупным поэтическим жанром была поэма. «Мертвые души», как бы отзеркаливая пушкинскую находку, были осмыслены

как *поэма (в прозе)* — тоже единственная в своем роде.

Поэтический принцип поэмы Гоголя заключается в том, что кроме линейно разворачивающегося сюжета в ней часто встречаются смысловые переклички и ассоциации между частями текста. В основной сюжет включены лирические отступления и произведения в произведении — «Повесть о капитане Копейкине» и притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче. Такого рода переходы и «скачки» характерны именно для поэзии. Например, их можно увидеть в одах Г. Р. Державина, творчеством которого Гоголь восхищался.

Необычное название — «Мертвые души» — вызвало затруднения при прохождении цензуры, указавшей на якобы возникающее противоречие с христианскими представлениями о бессмертии человеческой души. Гоголю пришлось остановиться на двойном заголовке, акцентирующем авантюрное, а не социально-обличительное начало: «*Похождения Чичикова*, или Мертвые души». Действительно, заголовок указывает прежде всего на сюжетную основу произведения: попытки Чичикова скупить числящихся живыми, но на деле уже умерших крепостных

крестьян для того, чтобы до новой «ревизской сказки», переписи живых и умерших, заложить эту мнимую собственность в Попечительском совете, занимающемся делами благотворительности, то есть обманом нажиться на сиротах.

«Мертвые души» можно воспринять как оксюморон, но он вполне согласуется с православным учением о грехе и, в частности о смертных грехах, столь тяжких, что они умерщвляют совершившую их душу, которую, впрочем, через покаяние и прощение Богом можно очистить и вернуть к жизни. В этом плане «Мертвые души» сопоставимы с «Развязкой „Ревизора“», написанной Гоголем в качестве послесловия к пьесе в 1846 году, где Первый комический актер поясняет, что в символическом, духовном смысле изображенный в произведении город — человеческая душа, порочные чиновники — мучающие душу страсти, Хлестаков — ветреная, обманутая совесть, а Ревизор — Судия, Бог, перед Которым в свое время предстанет и ответит за свои дела каждый. Такой контекст позволяет читателю выйти за рамки сатиры, чего очень хотел автор, и увидеть стоящую за ней книгу духовных размышлений и проповедь.

В письме к В. А. Жуковскому Гоголь писал о

своем произведении: «Вся Русь явится в нем!» И, действительно, писатель изобразил и русскую провинцию, и столицу — Петербург. Путешествующий Чичиков — удачная авторская находка, позволяющая дать широкую картину социальных типов, прежде всего помещиков и чиновников. Гоголь продолжает традицию авантюрных романов, и лучшего из отечественных — «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Т. Нарежного (1780–1825). Задачу «проездиться по России», чтобы хорошо ее узнать, Гоголь ставил и в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), но уже для того, чтобы создать положительный образ России.

Первый том поэмы, изданный в 1842 году, вызвал бурную реакцию и острую дискуссию. На ее издание откликнулись ведущие писатели, критики, журналисты, издатели, филологи: П. А. Плетнев, К. С. Аксаков, В. Г. Белинский, О. И. Сенковский, Н. А. Полевой, С. П. Шевырев и другие. Гоголя упрекали в безвкусии, отсутствии крупного замысла, языковых погрешностях. На защиту писателя встали П. А. Плетнев и К. С. Аксаков, сравнивший Гоголя по его художественному дарованию с Гомером и Шекспиром. Несколько статей посвятил гоголевской поэме В. Г. Белин-

ский, считавший «Гоголя великим поэтом, а его „Мертвые души“ — великим произведением».

Гоголь продолжал работу над поэмой и, по свидетельству К. С. Аксакова, читал практически завершенные главы второго тома ему и его гостям в Абрамцеве. Однако незадолго до смерти, в начале 1852 года, писатель, находясь в угнетенном состоянии духа, признал первоначальный замысел произведения неудавшимся и неверным и сжег рукопись второго тома, от которой остались лишь черновики.

Сразу после выхода из печати «Мертвые души» стали классикой и оказали значительное влияние на развитие русской литературы и искусства в целом. Изучение художественного опыта Гоголя важно для понимания романа Ф. М. Достоевского «Бесы», сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина, прозы Ф. К. Сологуба и А. Белого, а также других авторов. По мотивам гоголевской поэмы М. А. Булгаков написал сценарий и комедию с одноименным названием. Поэму иллюстрировали замечательные художники: П. Боклевский, В. Маковский, М. Шагал и многие другие. «Мертвые души» многократно экранизировались (в фильме М. Швейцера 1984 г. роль Чичикова исполнил А. Калягин) и инсценировались (в частности Ю.

Любимовым и А. Эфросом). Р. Щедрин написал поставленную в Большом театре оперу «Мертвые души» (1977).

Поэма Гоголя имеет мировое значение: переводы на иностранные языки, сначала фрагментов, начали выходить еще при жизни писателя.

Сергей Васильев

К читателю от сочинителя

Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании ни находился, почтен ли ты высшим чином или человек простого сословия, но если тебя вразумил Бог грамоте и попалась уже тебе в руки моя книга, я прошу тебя помочь мне.

В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты уже прочел в ее первом издании, изображен человек, взятый из нашего же государства. Ездит он по нашей Русской земле, встречается с людьми всяких сословий, от благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут в других частях. В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в Русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей

собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом.

Какого бы ни был ты сам высокого образования и жизни высокой, и какою бы ничтожною ни показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать на нее замечания, — я прошу тебя это сделать. А ты, читатель невысокого образования и простого звания, не считай себя таким невежею, чтобы ты не мог меня чему-нибудь поучить. Всякий человек, кто жил и видел свет и встречался с людьми, заметил что-нибудь такое, чего другой не заметил, и узнал что-нибудь такое, чего другие не знают. А потому не лиши меня твоих замечаний: не может быть, чтобы ты не нашелся чего-нибудь сказать на какое-нибудь место во всей книге, если только внимательно прочтешь ее.

Как бы, например, хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знают круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного листа ее, и при-

нялся бы читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши перед собою лист почтовой бумаги, и после прочтенья нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и все, что видел сам или что слышал от других подобного тому, что изображено в моей книге, или же противоположного тому, все бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы ко мне всякий лист по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им вся книга. Какую бы кровную он оказал мне услугу! О слоге или красоте выражений здесь нечего заботиться; дело в деле и в правде дела, а не в слоге. Нечего ему также передо мною чиниться, если бы захотелось меня попрекнуть, или побранить, или указать мне вред, какой я произвел наместо пользы необдуманным и неверным изображением чего бы то ни было. За все буду ему благодарен.

Хорошо бы также, если бы кто нашелся из сословия высшего, отдаленный всем и самой жизнью и образованием от того круга людей, который изображен в моей книге, но знающий зато жизнь того сословия, среди которого живет, и решился бы таким же самым образом прочесть сызнова мою

книгу и мысленно припомнить себе всех людей сословия высшего, с которыми встречался на веку своем, и рассмотреть внимательно, нет ли какого сближения между этими сословиями и не повторяется ли иногда то же самое в круге высшем, что делается в низшем? и все, что ни придет ему на ум по этому поводу, то есть всякое происшествие высшего круга, служащее в подтверждение или в опровержение этого, описал бы, как оно случилось перед его глазами, не пропуская ни людей с их нравами, склонностями и привычками, ни бездушных вещей, их окружающих, от одежд до мебелей и стен домов, в которых живут они. Мне нужно знать это сословие, которое есть цвет народа. Я не могу выдать последних томов моего сочинения до тех пор, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всех ее сторон, хотя в такой мере, в какой мне нужно ее знать для моего сочинения.

Недурно также, если бы кто-нибудь такой, кто наделен способностью воображать или живо представлять себе различные положения людей и преследовать их мысленно, на разных поприщах, — словом, кто способен углубляться в мысль всякого читаемого им автора или развивать ее, проследил бы пристально всякое лицо, выве-

денное в моей книге, и сказал бы мне, как оно должно поступить в таких и таких случаях, что с ним, судя по началу, должно случиться далее, какие могут ему представиться обстоятельства новые и что было бы хорошо прибавить к тому, что уже мной описано; все это желал бы я принять в соображение к тому времени, когда воспоследует издание новое этой книги, в другом и лучшем виде.

Об одном прошу крепко того, кто захотел бы наделить меня своими замечаниями: не думать в это время, как он будет писать, что пишет он их для человека ему равного по образованию, который одинаковых с ним вкусов и мыслей и может уже многое смекнуть и сам без объяснения; но вместо того воображать себе, что перед ним стоит человек, несравненно его низший образованьем, ничему почти не учившийся. Лучше даже, если наместо меня он себе представит какого-нибудь деревенского дикаря, которого вся жизнь прошла в глуши, с которым нужно входить в подробнейшее объяснение всякого обстоятельства и быть просту в речах, как с ребенком, опасаясь ежеминутно, чтоб не употребить выражений свыше его понятия. Если это беспрерывно будет иметь в виду тот, кто станет делать замечания

на мою книгу, то его замечания выйдут более значительны и любопытны, чем он думает сам, а мне принесут истинную пользу.

Итак, если бы случилось, что моя сердечная просьба была бы уважена моими читателями и нашлись бы из них действительно такие добрые души, которые захотели бы сделать все так, как я хочу, то вот каким образом они могут переслать свои замечания: сделавши сначала пакет на мое имя, завернуть его потом в другой пакет, или на имя ректора С.-Петербургского университета, его превосходительства Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо в С.-Петербургский университет, или на имя профессора Московского университета, его высокородия Степана Петровича Шевырева, адресуя в Московский университет, смотря по тому, к кому какой город ближе.

А всех, как журналистов, так и вообще литераторов, благодаря искренно за все их прежние отзывы о моей книге, которые, несмотря на некоторую неумеренность и увлечения, свойственные человеку, принесли, однако ж, пользу большую как голове, так и душе моей, прошу не оставить и на этот раз меня своими замечаниями. Уверяю искренно, что все, что ни будет ими сказано на вразумленье или поученье мое, будет принято

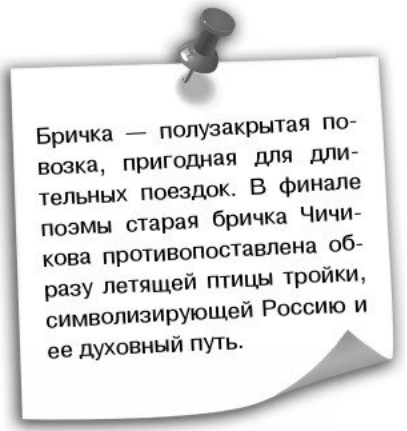
мною с благодарностью.

Глава I

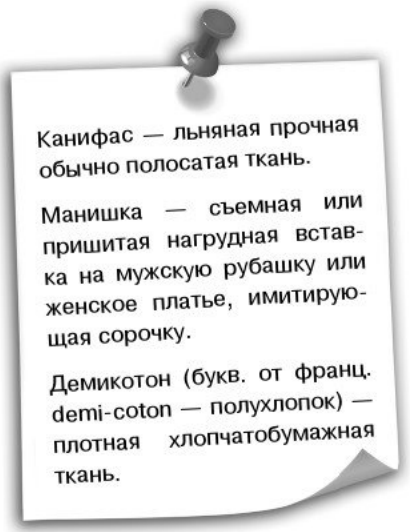
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтоб стар, однако ж и не так чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к

гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Гоголь назвал город NN, то есть «некий», «любой» или «никакой», показывая, что созданный им художественный мир одновременно и условный, и типичный. Сходный прием был использован в «Ревизоре», действие которого происходит в неназванном вымышленном уездном (то есть районном) городе, меньшем по размеру и значению, чем губернский (в современных реалиях – областной) город в «Мертвых душах».



Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой.

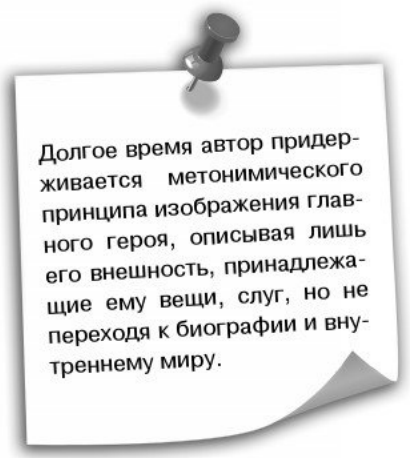


Покой был известного рода; ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки приезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях

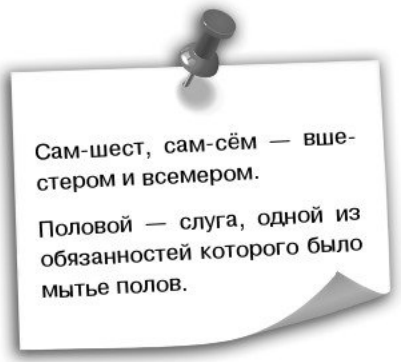
проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева, с штучными выкладками из карельской березы, сапожные

колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда всё это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.



Один из главных приемов создания образа персонажа – портрет. Чичиков ничем не выделяется, не имеет запоминающихся черт, ни то ни сё. Так ему проще обмануть, так легче затеряться в случае опасности. Эта особенность внешности создает также мистический план: герой и присутствует в эпизоде, и одновременно, подобно, нечистым духам, бесам, как бы растворяется в пространстве, исчезает.



Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю, тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая

же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу, те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, всё то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров.



Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку,

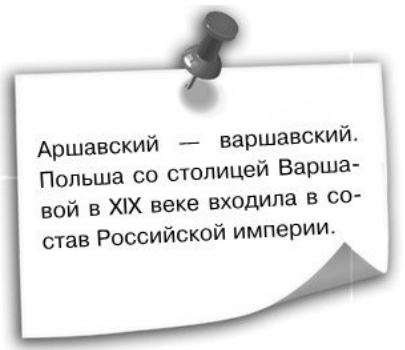
какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему всё это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин, на что половой по обыкновению отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты,

кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника, но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии, повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подобного, и всё так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник.

Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой всё еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Домы были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости.

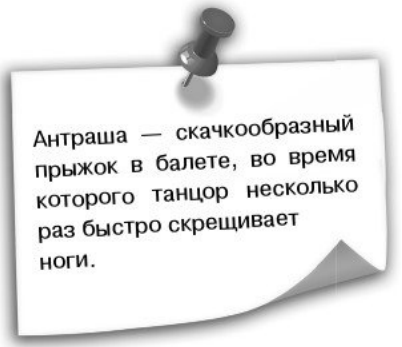
Коллежский советник – чин 6-го класса по «Табели о рангах», принятой при Петре I в 1722 г. и предусматривавшей 14

ступеней служебной иерархии. Это высокий чин, соответствовавший полковнику в пехоте. Вспомним, что у героя повести «Шинель» Акакия Акакиевича Башмачкина был чин 9-го класса – титулярный советник, а Хлестаков из «Ревизора» имел самый низкий чин 14-го класса – коллежский регистратор.



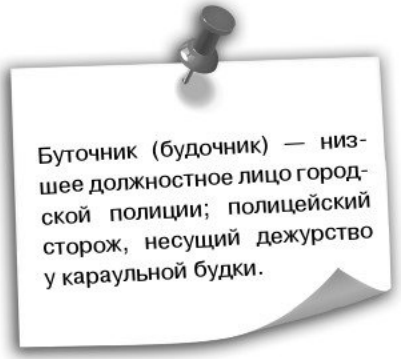
Имя Павел скорее всего указывает на будущее духовное перерождение Чичикова, подобно тому, какое пережил гонитель христиан Савл, ставший учителем христианства первоверховным апостолом Павлом, в честь которого герой был на-

зван. Отчество Иванович подчеркивает его типичность.



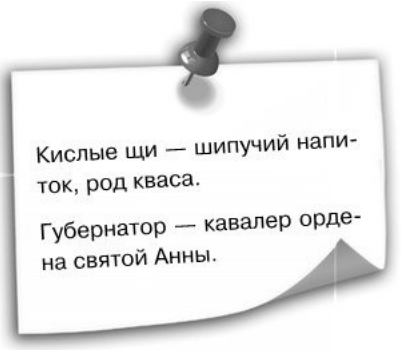
Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был билиард с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И

вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плохована. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику.



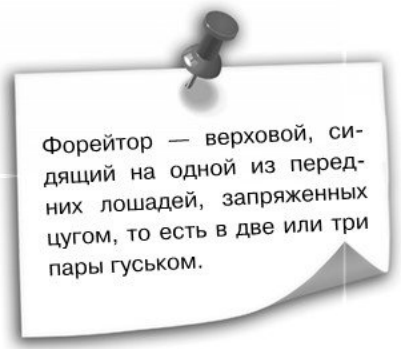
Расспросивши подробно буточника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее с узелком в руке, и, еще раз окинувши всё глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе

свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г-на Коцебу, в которой Роллу играл г-н Поплёвкин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом переворотил на другую сторону — узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать всё, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.



Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками… жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельство-

вать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских буточников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.



О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и недостоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот всё, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя

на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляски с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали, — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся

мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами.

Герои Гоголя имеют значимые, часто «говорящие» фамилии, которые писатель тщательно обдумывал. Фамилия Чичиков не вполне ясна. Возможно, это звукоподражание по аналогии с «чик-чирик». В

Словаре В.И. Даля есть слова начичи к – «франтовски, щегольски, модно» и чичи говатый – «упрямый, беспокойный, причудливый, привередливый, на кого не угодишь». По объяснению И.А. Виноградова, чичик (встречается в украинской загадке) – вода в мельничном водостоке, либо: вороватый хищный кот. По мнению о. Симеона (Томачинского), фамилия Чичиков происходит от итальянского чичероне – проводник.

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были та-

кого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских: имели так же весьма чисто, обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват; волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «чёрт меня побери», как говорят французы; волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают

косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую

комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался, несколько набок, впрочем не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во всё время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!»

Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!», или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!», или «пикендрас! пичурущух! пичура!», и даже просто: «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но «вы изволили пойти, я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом

уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают уже выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С поли-

цеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого, на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиардной игре — и в били-

ардной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он всё это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал и

познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти весь город.

Глава II

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более сурьезное, близшее к сердцу… Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные и то, что называют, второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и

пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно всё равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит.

Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым

и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характеристические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, чёрт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом: или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, — может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош; не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», — бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему

дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек… Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на всё, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а всё, однако ж, нужно возвращаться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случилось воскресенье, выбрившись таким

образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку.

С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с

резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни всё не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

Фамилия Манилов связана с *манить* – «звать, привлекать, прельщать». Диалектное слово *мана* – мираж. Герой производит приятное впечатление, но потом вызывает скуку. Манилов занят глупыми и нереализуемыми мечтами. На это указывает слово *маниловщина* – «мечтательно-бездеятельное отно-

шение к окружающему, беспочвенное благодушие». Сравним его со словом *обломовщина* из романа И. А. Гончарова «Обломов». Характерная оговорка Чичикова, назвавшего деревню Манилова не Маниловкой, а несуществующим названием – Заманиловкой. Оно образовано от глагола совершенного вида *заманить*, то есть «завлечь какой-нибудь приманкой; обманом завлечь в засаду, в сети». Чичиков плетет интриги, заманивает своим необычным предложением, но и сам находится под воздействием своей страсти, созданного его воображением миража.

— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

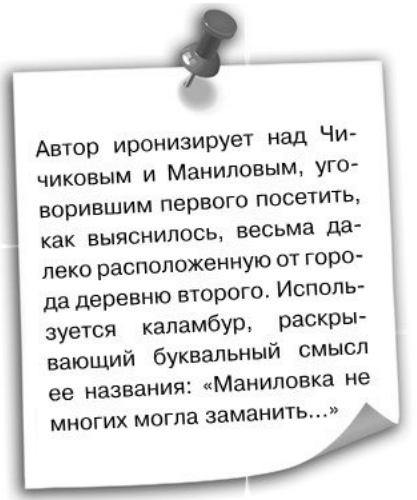
— Ну да, Маниловка.

— Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо.

— Направо? — отозвался кучер.

— Направо, — сказал мужик. — Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот

это тебе и есть Манилов-ка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.



Один из важных признаков, по которому можно судить о помещике, – его усадьба. У каждого из посещенных Чичиковым землевладельцев она своя. Дом Манилова стоит одиночкой на возвышенности, на юру, и открыт всем ветрам. Помещик не имеет ни одной сколько-ни-

будь основательной мысли, на которой он может задержаться и которую может воплотить в жизнь.



Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа всё еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню

за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени

в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец,

когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.



Характер людей одного с Маниловым типа из-за его сложности передан метафорически. Подобно Чичикову, чья внешность обрисована через крайние точки, между которыми находится тот или иной признак («ни слишком толст, ни слишком тонок»), характер Манилова – «ни то ни сё, ни в городе Богдан ни в селе Селифан».

Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни сё, ни в городе

Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: какой приятный и добрый человек! В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: чёрт знает, что такое! и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям,

знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков, — словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», — «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером: «Да, именно недурно», — повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по дать заработать», — «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо

было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями,

с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги.

Манилов обладал светлыми волосами (белокур), имел голубые глаза и «черты лица… не лишенные приятности». Однако первое впечатление вскоре рассеивается и сменяется на противоположное после того, как открывается внутренняя пустота персонажа. Духовная ограниченность, бедность способна обессмыслить, лишить привлекательности и физическую красоту.

Другой важный прием, который Гоголь использует для характеристики помещиков, – интерьер. В доме Манилова предметы мебели, столовые приборы и утварь напоминают о том, что хозяин не доводит начатое дело до конца. Их описание строится на основе контраста: мебель, обтянутая дорогой материей, и недоделанные кресла; щегольской подсвечник и старый «медный инвалид».

Жена его… впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них всё еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы

слуги? зачем вся дворня спит немилосердым образом и повесничает всё остальное время? Но всё это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; всё это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова… но признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга

пройти вперед.

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, — говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, — говорил Чичиков.

— Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

— Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

— Ну, да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну, да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

— Позвольте мне вам представить жену мою, — сказал Манилов. — Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол

и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее, не проходило дня, чтобы не вспоминал о нём.

— Да, — промолвил Манилов, — уж она, бывало, всё спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» — «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение, майский день, именины сердца…

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

— Вы всё имеете, — прервал Манилов с тою же приятною улыбкою, — всё имеете, даже еще более.

— Как вам показался наш город? — примолвила Манилова. — Приятно ли провели там время?

— Очень хороший город, прекрасный город, — отвечал Чичиков, — и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

— А как вы нашли нашего губернатора? — ска-

зала Манилова.

— Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? — прибавил Манилов.

— Совершенная правда, — сказал Чичиков, — препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

— Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках, — присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

— Очень обходительный и приятный человек, — продолжал Чичиков, — и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза.

— Очень, очень достойный человек, — отвечал Чичиков.

— Ну позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

— Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов; очень, очень достойный человек.

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? — прибавила Манилова. — Не правда ли, прелюбезная женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, — отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

— Вы всегда в деревне проводите время? — сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

— Больше в деревне, — отвечал Манилов. — Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь всё время жить взаперти.

— Правда, правда, — сказал Чичиков.

— Конечно, — продолжал Манилов, — другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности,

о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое… — Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: — Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого… Вот только иногда почитаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу…

— Но знаете ли, — прибавил Манилов, — всё, если нет друга, с которым бы можно поделиться…

— О, это справедливо, это совершенно справедливо! — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», — сказал один мудрец.

— И знаете, Павел Иванович! — сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. — Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение… Вот как, напри-

мер, теперь, когда случай мне доставил счастие, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором…

— Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, — отвечал Чичиков.

— О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостию отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..

— Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее…

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

— Прошу покорнейше, — сказал Манилов. — Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах; у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях.

При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

— Какие миленькие дети, — сказал Чичиков, посмотрев на них, — а который год?

— Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть, — сказала Манилова.

— Фемистоклюс! — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался высвободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привесть лицо в обыкновенное положение.

> Фемистоклюс – имя, напоминающее о Фемистокле, знаменитом древнем афинском полководце. Окончание римских имен – юс искусственно добавлено к имени, имеющему греческое происхождение. Это создает комический эффект, особенно с учетом местонахождения персонажа в русской провинциальной усадьбе.

— Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший

город во Франции?

Здесь учитель обратил всё внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».

— А у нас какой лучший город? — спросил опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

— Петербург, — отвечал Фемистоклюс.

— А еще какой?

— Москва, — отвечал Фемистоклюс.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков. — Скажите, однако ж… — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым. — Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

— О, вы еще не знаете его! — отвечал Манилов, — у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, — продолжал он, снова обратясь к нему, — хочешь быть посланником?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и

болтая головой направо и налево.

> Алкид – одно из имен Геракла, полубога греческой мифологии. Геракл совершил 12 знаменитых подвигов и отличался исключительной силой и быстротой. Манилов говорит, что его младший сын Алкид не так быстр, как старший – Фемистоклюс. Это тоже вызывает комический эффект, особенно с учетом того, что быстрый Фемистоклюс преследует замеченную им «букашку или козявку», а отнюдь не грозного соперника.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал

вилкою по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

— В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет, — сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. — Вот мой уголок, — сказал Манилов.

— Приятная комнатка, — сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядами. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

— Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах, — сказал Манилов. — Здесь вам будет попокойнее.

— Позвольте, я сяду на стуле.

— Позвольте вам этого не позволить, — сказал Манилов с улыбкою. — Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

— Позвольте мне вас попотчевать трубочкою.

— Нет, не курю, — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

— Отчего? — сказал Манилов тоже ласково и с

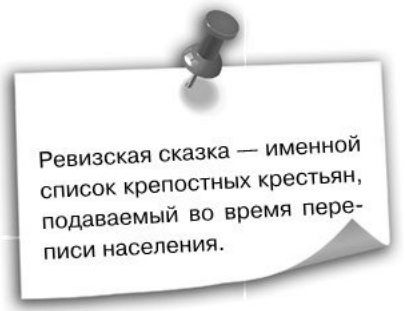
видом сожаления.

— Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

— Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишним лет, но благодаря Бога до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это точно случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу… — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем, неизвестно отчего, оглянулся назад. Манилов тоже, неизвестно отчего, оглянулся назад. — Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?



— Да уж давно; а лучше сказать — не припомню.

— Как с того времени, много у вас умерло крестьян?

— А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские

приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

— Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

— Да как сколько? Многие умирали с тех пор, — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка.

— Да, признаюсь, я сам так думал, — подхватил Манилов, — именно очень многие умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень многие.

— А как, например, числом? — спросил Чичиков.

— Да, сколько числом? — подхватил Манилов.

— Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало: их никто не считал.

— Да, именно, — сказал Манилов, обратясь к Чичикову, — я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

— Ты, пожалуйста, их перечти, — сказал Чичиков, — и сделай подробный реестрик всех поименно.

— Да, всех поименно, — сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» — и ушел.

— А для каких причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

— Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян… — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

— Но позвольте спросить вас, — сказал Манилов, — как желаете вы купить крестьян, с землею или просто на вывод, то есть без земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно крестьян, — сказал Чичиков, — я желаю иметь мертвых…

— Как-с? извините… я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово…

— Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, —

сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он, но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, всё было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать,

уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

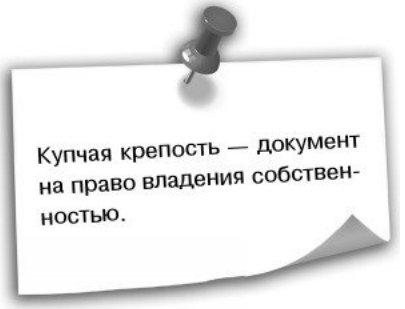
— Мне кажется, вы затрудняетесь?.. — заметил Чичиков.

— Я?.. нет, я не то, — сказал Манилов, — но я не могу постичь… извините… я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться… Может быть, здесь… в этом, вами сейчас выраженном изъяснении… скрыто другое… Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

— Нет, — подхватил Чичиков, — нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос — чёрт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри.

— Итак, если нет препятствий, то с Богом, можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков.



— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков. — Мы напишем, что они живые, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он всё-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства, но чубук хрипел и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь со-

мнения?

— О, помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли эта негоция не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А если хорошо, это другое дело: я против

этого ничего, — сказал Манилов и совершенно успокоился.

— Теперь остается условиться в цене…

— Как в цене? — сказал опять Манилов и остановился. — Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то, с своей стороны, я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностию, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь

сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

— Очень не дрянь, — сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: — Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн… Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте горемыке!.. — Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

— Как? вы уже хотите ехать? — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

— Лизанька, — сказал Манилов с несколько жалостливым видом, — Павел Иванович оставляет нас!

— Потому что мы надоели Павлу Ивановичу, — отвечала Манилова.

— Сударыня! здесь, — сказал Чичиков, — здесь, вот где, — тут он положил руку на сердце, — да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! И, поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.

— А знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, — как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

— О! это была бы райская жизнь! — сказал Чичиков, вздохнувши. — Прощайте, сударыня! — продолжал он, подходя к ручке Маниловой. — Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте просьбы!

— О, будьте уверены! — отвечал Манилов. — Я с вами расстаюсь не долее как на два дни.

Все вышли в столовую.

— Прощайте, миленькие малютки! — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. — Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете; но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс.

— А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? — продолжал он, наклонившись к Алкиду.

— Парапан, — отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак всё будет: туррр… ру… тра-та-та, та-та-та… Прощай, душенька! Прощай! — Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

— Право, останьтесь, Павел Иванович! — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. —

Посмотрите, какие тучи.

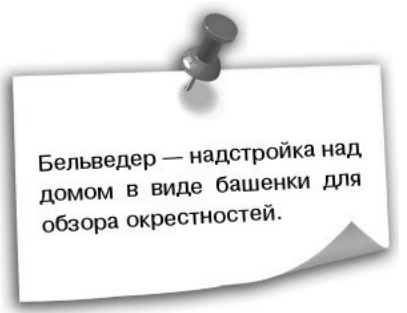
— Это маленькие тучки, — отвечал Чичиков.

— Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

— Об этом хочу спросить вас.

— Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру. — Тут Манилов с такою же любезностию рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

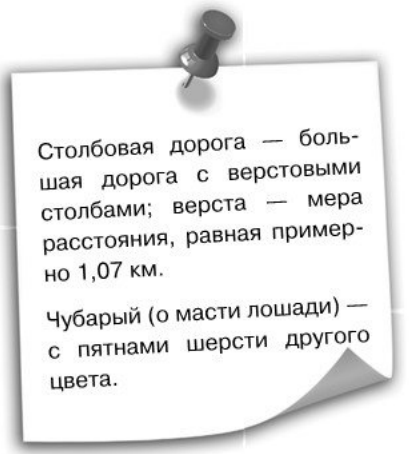
Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.



Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже со-

вершенно стала не видна, он всё еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее наконец бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и всё время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

Глава III



А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно

оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его куучерр, ддовольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет!» Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» — и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был

ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели: выпить ли чаю, или закусить — с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякий отдаст почтение. Вот барина нашего всякий уважает; потому, что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеский советник…»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя: всё небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, по-

том, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась

в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжеле тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

— Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из брички.

— Что, барин? — отвечал Селифан.

— Погляди-ка, не видно ли деревни?

— Нет, барин, нигде не видно! — После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда всё вошло: все ободрительные и понудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого, прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

— Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков.

— Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! — Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

— Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему.

— Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. — Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец вывоpотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил; впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

После посещения Манилова план Чи-

чикова, предполагавшего поехать к Собакевичу, нарушается из-за грозы. Вместо прямого пути герой сбивается на путь кривой. Кучер Селифан выехал в поле и опрокинул бричку, а Чичиков упал и вывалялся в грязи. В этом символически отражено духовное падение Чичикова, ставшего игрушкой в руках темных сил.

— Ты пьян как сапожник! — сказал Чичиков.

— Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусил вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? — произнес Чичиков.

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что…

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком.

— Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на всё согласный Селифан, — коли высечь,

то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь; коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь потому, что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилася оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота.

Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:

— Кто стучит? чего расходились?

— Приезжие, матушка, пусти переночевать, — произнес Чичиков.

— Вишь ты какой востроногий, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор, помещица живет.

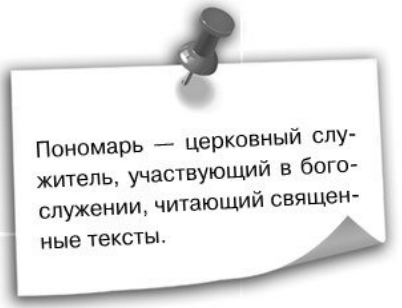
— Что ж делать, матушка, видишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

— Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан.

— Молчи, дурак, — сказал Чичиков.

— Да кто вы такой? — сказала старуха.

— Дворянин, матушка.

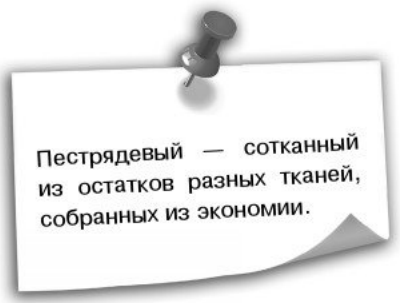


Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать. «Погодите, я скажу барыне», — произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал

бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого щенка, и всё это наконец повершал бас, может быть, старик или просто наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певчий контрабас, когда концерт в полном разливе, тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и всё, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстух, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные

маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев, за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате… невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтинники, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию

племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.



Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. «Ничего, ничего, — сказала хозяйка. — В какое это время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя».

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум очень походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто

колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

> Портрет Коробочки отнюдь не изыскан. На ней наскоро надетый чепец, на шее – фланель, видимо, кусок ткани. Прижимистая и подозрительная, она умеет копить деньги, раскладывая монеты разного достоинства по пестрядевым мешочкам. Коробочка напоминает ведьму или Бабу-ягу. На эту мысль наводит и неожиданное «странное шипение» ее стенных часов, как бы наполняющих комнату змеями.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

— По крайней мере знаете Манилова? — сказал Чичиков.

— А кто таков Манилов?

— Помещик, матушка.

— Нет, не слыхивала, нет такого помещика.

— Какие же есть?

— Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

— Далеко ли по крайней мере до города?

— А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать, не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

— Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время наслал Бог: гром такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?



— Еще слава богу, что только засалился; нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

— Святители, какие страсти!

Да не нужно ли чем потереть спину?

— Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напусти-

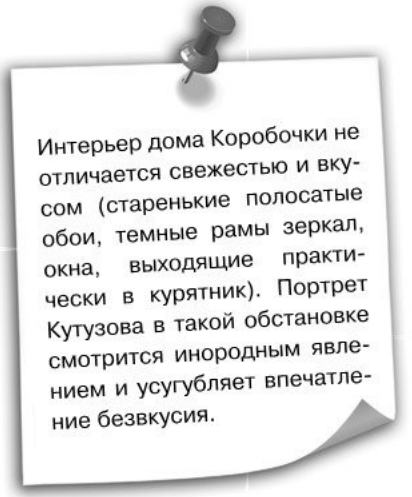
ла целый потоп перьев по всей комнате. — Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

— Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

— Ну, вот тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым

одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть — обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно всё. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка.



Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало подле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно же было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся

перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, перегораживал досчатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддержива-

емы как следует: изветшавший тёс на крышах везде был заменен новым, ворота нигде не покосились; а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, в темном платье, и уже не в спальном чепце, но на шее всё так же было что-то навязано.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков, садясь в кресла. — Вы как, матушка?

— Плохо, отец мой.

— Как так?

— Бессонница. Всё поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

— Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

— Дай бог, чтобы прошло. Я-то мазала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем

прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая.

— Недурно, матушка, хлебнем и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии.

Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький, тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот чёрт знает что: пищит птицей и всё смеется». Подходишь ближе, глядишь, точно Иван Петрович! «Эхе-хе», — думаешь себе… Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи.

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько

в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, — сказала хозяйка, — да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся… приехал в ночное время…

— Коробочка, коллежская секретарша.

Женщины в императорской России не принимались на государственную службу и не имели чинов, их социальный статус обычно определялся по отцу или мужу. Коробочка представилась коллежской секретаршей, то есть она является вдовой коллежского секретаря, чиновника 10-го класса.

Имя Коробочки (Настасья Петровна) встречается в известной русской народной сказке «Три медведя», так там зовут мать-медведицу. Поэтому возникает ассоциативная связь между образами Коробочки и Собакевича (Михаила Семеновича), похожего «на средней величины медведя.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? Хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица. — Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка, — отвечал Чичиков, усмехнувшись. — Чай, не заседатель, а так, ездим по своим делишкам.

— А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала старуха, вздохнувши. — И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них; всё такая мелюзга, а заседатель подъехал, подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство

знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил; только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь; а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать.

— На всё воля Божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши, — против мудрости Божией ничего нельзя сказать… Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха,

выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Право, не знаю, — произнесла хозяйка с расстановкой. — Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну баба, кажется, крепколобая!» — подумал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого…

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица. — Еще третью неделю взнесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в

соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случалось мне продавать покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

— Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того… они больше как-нибудь стоят.

— Послушайте, матушка… эх какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах.

Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. — Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, всё отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною.

— Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить… Я вам даю деньги:

пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

Фамилия Коробочка – «говорящая». Она передает характер своей носительницы, склонной к накопительству, сребролюбию. Именно Коробочка, боясь, не продешевила ли она с продажей мертвых душ, позже приезжает в губернский город и начинает вести расспросы, вызвавшие подозрения и всевозможные толки о Чичикове. С Коробочкой и ее мешочками ассоциируется шкатулка Чичикова, которому стремление к накопительству и наживе присуще еще в большей степени.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму, а мертвые души — дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания: на то была воля Божия,

чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями. — После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец подастся.

— Право, — отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся… — возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да,

впрочем, ведь кости и могилы, всё вам остается, перевод только на бумаге. Ну так что же? Как же? отвечайте по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я всё не приберу, как мне быть, лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей чёрта.

Чёрта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился, окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся: рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду… да

пропади они и околей со всей вашей деревней!..

— Ах, какие ты забранки пригинаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду… — Здесь он прилгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:

— Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

— Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

— Нет, матушка, не обижу, — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья

катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

— Как же, протопопа, отца Кирилла, сын служит в палате, — сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было, — подумала между тем про себя Коробочка, — если бы он забирал у меня в казну муку и скотину, нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни; а Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было всё прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял накрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был

весь в поту, как в реке: всё, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, всё было мокро. «Эк уморила как, проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки.

Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой средине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив

перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

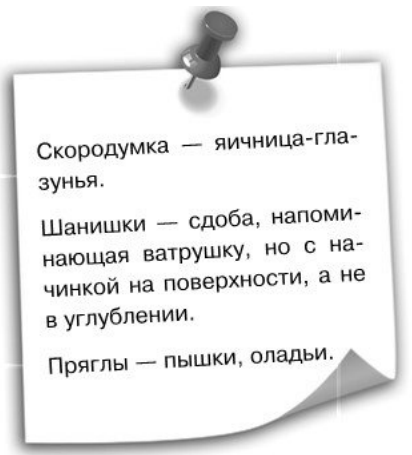
— Хорош у тебя ящичек, отец мой, — сказала она, подсевши к нему. — Чай, в Москве купил его?

— В Москве, — отвечал Чичиков, продолжая писать.

— Я уж знала это: там всё хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало. — Хоть бы мне листик подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз,

слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экий длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.



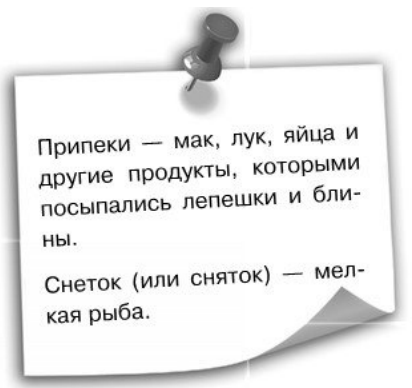
— Прошу покорно закусить, — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стоя-

ли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.

— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкуусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

— А блинков? — сказала хозяйка.

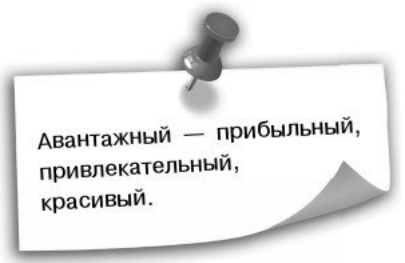


В ответ на это Чичиков свернул три блина

вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинков.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут, — сказала хозяйка, — да вот беда, урожай плох, мука уж такая не авантажная…



Да что же, батюшка, вы так спешите? — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз. — Ведь и бричка еще не заложена.

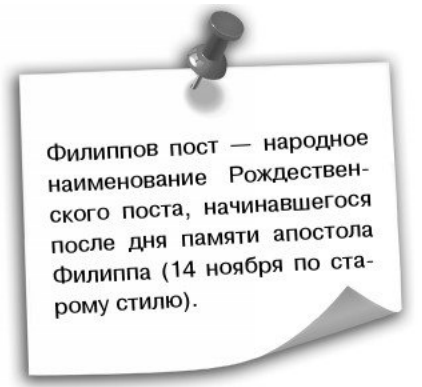
— Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

— Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

— Не забуду, не забуду, — говорил Чичиков, выходя в сени.

— А свиного сала не покупаете? — сказала хозяйка, следуя за ним.

— Почему не покупать? Покупаю, только после.



— У меня о Святках и свиное сало будет.

— Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

— Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков.

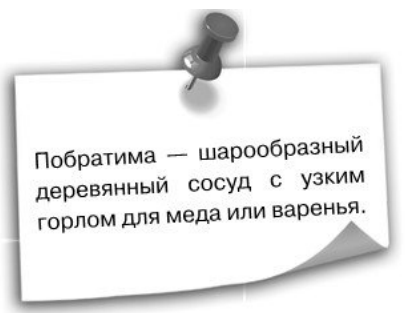
— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

— Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же бы это сделать? — сказала хозяйка. — Рассказать мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

— Как не быть.

— Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу; только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.



Провожая Чичикова, Коробочка «впе-

рила глаза в ключницу», служанку, хранящую ключи от замков в доме и хозяйственных построек. Эта деталь будет важна при восприятии образа Плюшкина, которого Чичиков сначала принимает именно за ключницу, а не за богатого помещика, каковым он является.

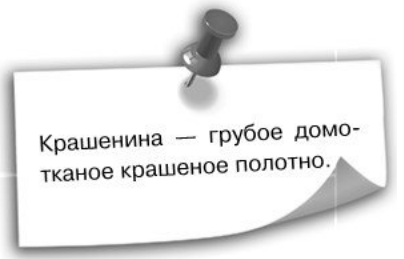
Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать всё, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чу-

гунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо…

— А вот бричка, вот бричка! — вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжавшую свою бричку. — Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

— Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?



— Эй, Пелагея, — сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежею грязью. — Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог влезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши: «А! теперь хорошо! Прощайте, матушка!» Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалося с ним всегда после того, когда либо в чем прови-

нился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! — думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. — Небось знает, где бить! Не хлыстнет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее, по ушам зацепит или под брюхо захлыстнет».

— Направо, что ли? — с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от

дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными полями.

— Нет, нет, я уж покажу, — отвечала девчонка.

— Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе.

— Вот куды, — отвечала девчонка, показывая рукою.

— Эх ты! — сказал Селифан. — Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши: «Вон столбовая дорога!»

— А строение? — спросил Селифан.

— Трактир, — сказала девчонка.

— Ну, теперь мы сами доедем, — сказал Сели-

фан, — ступай себе домой.

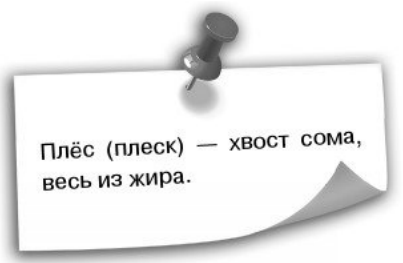
Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.

Глава IV

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам: с одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю, глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем

или кулебякой с сомовьим плёсом, так что вчуже пронимает аппетит, — вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки, но то беда, что ни за какие деньги, ниже имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки.



Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на стариные церковные подсвечники. Трактир

был что-то вроде русской избы несколько в большем размере. Разные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец, натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

— Есть.

— С хреном и со сметаною?

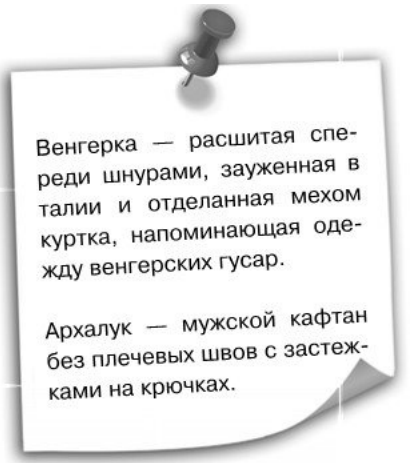
— С хреном и со сметаною.

— Давай его сюда!

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын — холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, — словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльный, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет повеликатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятин-

ки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печени спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.



Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкой добрых лошадей. Из

брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они, вероятно бы, разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним

дождем, и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

— Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. — Какими судьбами?

Портрет Ноздрева исполнен жизни и здоровья. Но его сопровождает авторская ирония, ведь герой – одна из духовно мертвых душ, хотя и владеет душами крепостными. Ирония проявляется через употребление речевых штампов, обычно характеризующих красоту и здоровье. Его зубы – белые, как снег; бакенбарды – черные, как смоль; щеки – как кровь с молоком. Этих признаков здоровья столь много, что читатель настораживается и за этим физическим благополучием угадывает нравственные изъяны.

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с кото-

рым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.

> Фамилия Ноздрев образована от слова *ноздря*. Для понимания ее роли в создании образа персонажа важно учесть фразеологические сочетания с этим словом: ширить ноздри (вести себя заносчиво), не по ноздре (не нравиться кому-либо), раздувать ноздри по ветру (часто менять место жительства, переезжать), ноздря в ноздрю (соревноваться). Ноздрев самолюбив и деятелен, обладает неуравновешенным, вздорным, конфликтным характером.

— Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. — Видишь, какая дрянь! насилу дотащили проклятые; я уже

перелез вот в его бричку. — Говоря это, Ноздрев указал пальцем на своего товарища. — А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним всё утро говорили о тебе. «Ну, смотри, — говорю, — если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов… — Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. — А ведь будь только двадцать рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть, кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

— Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал белокурый, — а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

— И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк.

— Однако ж не сорвал, — сказал белокурый.

— Не сорвал потому, что загнул утку не вовре-

мя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

— Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.

— Эка важность! — сказал Ноздрев. — Этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня всё, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец! как покутили! Теперь даже, как вспомнишь… чёрт возьми! то есть как жаль, что ты не был! Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить… Штабс-ротмистр Поцелуев… такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников… Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь — сандал, жженую

пробку и даже бузиной, подлец, затирает, но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико матрадура; это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и всё что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!

— Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, — заметил белокурый.

— Как честный человек говорю, что выпил, — отвечал Ноздрев.

— Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

— Ну, хочешь об заклад, что выпью?

— К чему же об заклад?

— Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе.

— Не хочу.

— Ну, да поставь, попробуй!

— И пробовать не хочу.

— Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во всё что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакий! поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу… А сколько, брат, было карет, и всё это en gros [1]. В фортунку крутнул, выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару: потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и чёрт знает чего не было… я думаю себе только: «Чёрт возьми!» А Кувшинников, то

---

[1] Примечания: 1

В большом количестве *(фр.)*.

есть это такая бестия, подсел к ней, и на французском языке подпускает ей такие комплименты… Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один, хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

— А я к человечку к одному, — сказал Чичиков.

— Ну, что человечек, брось его! поедем ко мне!

— Нет, нельзя, есть дело.

— Ну, вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович!

— Право, дело, да еще и нужное.

— Пари держу, врешь! Ну, скажи только, к кому едешь?

— Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

— Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во всё горло,

приговаривая: «Ой, пощади, право, тресну со смеху!»

— Ничего нет смешного: я дал ему слово, — сказал Чичиков.

— Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к чёрту Собакевича, поедем-ка сейчас ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только; всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий, — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. — Эй, Порфирий! — кричал Ноздрев, — принеси-ка щенка!

Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева… — Чичиков, впрочем, отроду не видал ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

Планы Чичикова вновь нарушаются, и он, вместо того чтобы отправиться к Собакевичу, возобновляет знакомство с Ноздревым и едет к нему в усадьбу. Гоголь продолжает изображать галерею помещиков, но вряд ли можно однозначно сказать, что в этих образах он создает нисходящую градацию. Скорее автор рисует разные «задоры», указывающие на страсти, пороки. При этом Плюшкин, завершающий данную галерею, действительно, находится внизу этой духовной лестницы.

— Барин! ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха.

— Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

— Анисовая, — отвечала старуха.

— Ну, давай анисовой, — сказал Ноздрев.

— Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый.

— В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, «вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею. — Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. — А, давай его сюда! — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.

— Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

— Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка, — и не подумал вычесать его?

— Нет, я его вычесывал.

— А отчего же блохи?

— Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

— Врешь, врешь, и не воображал чесать, я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка, пощупай рукою.

— Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков.

— Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши: «Да, хорошая будет собака».

— А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши: «Хорошее чутье».

— Настоящий мордаш, — продолжал Ноздрев. — Я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

— Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне; пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.

«А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на всё, стало быть, у него

даром можно кое-что выпросить».

— Изволь, едем, — сказал он, — но чур не задержать, мне время дорого.

— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо! Постой же, я тебя поцелую за это. — Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. — И славно: втроем и покатим!

— Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил белокурый, — мне нужно домой.

— Пустяки, пустяки, брат, не пущу.

— Право, жена будет сердиться, теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.

— Ни, ни, ни! И не думай!

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, — словом, начнут гладью, а кончат гадью.

— Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то

представление белокурого, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними.

— За водочку, барин, не заплатили… — сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего, — отвечала старуха.



— Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее.

— Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против

того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясчонка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме.

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек; но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера

на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и в двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила, тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще

даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.

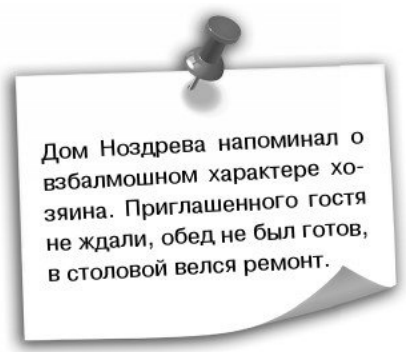
Гоголь иронизирует над Ноздревым, дав ему характеристику «в некотором отношении исторический человек». Исторический в данном случае значит не вошедший в историю (страны, человечества), а постоянно попадающий в истории, то есть скандальные ситуации.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то всё-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет, или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг

расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах высоких и предметах, вызывающих на размышление; так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во

многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на всё, что хотите. Ружье, собака, лошадь — всё было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть, это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных смолок, ситцев, свечей, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно всё другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был

Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.



Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган бе-

лилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол.

Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать всё, что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно всё, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч.

— Десяти тысяч ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит.

— Ей-богу, дал десять тысяч, — сказал Ноздрев.

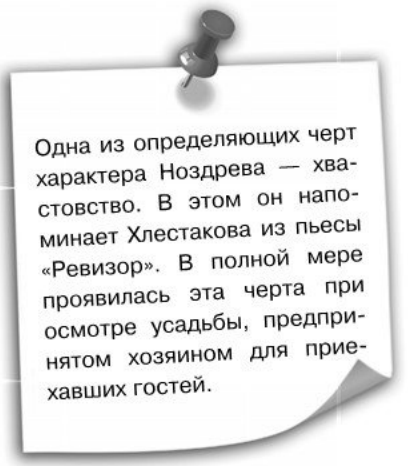
— Ты себе можешь божиться, сколько хочешь, — отвечал зять.

— Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев.

Об заклад зять не хотел биться.

Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому

поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! — сказал он, — я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!» Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усумниться. «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясов просто наводит изумление, щиток — игла!» — и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих… Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница.



Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства: все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев прави лами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по

словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но, года два тому назад, была очень хорошая сука. Осмотрели и суку — сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, порхающий, по чудному выражению русского мужика. «А вот тут скоро будет и кузница!» — сказал Ноздрев. Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу.

— Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

— Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять.

— А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было

низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.

— Вот граница! — сказал Ноздрев, — все, что ни видишь по эту сторону, всё это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, всё мое.

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

— Да, я купил его недавно, — отвечал Ноздрев.

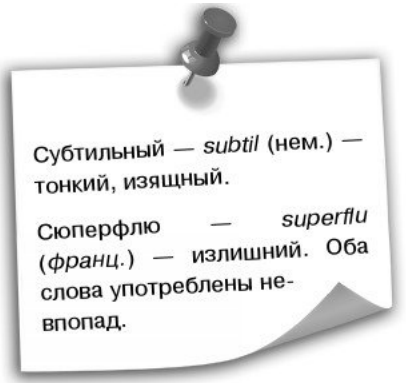
— Когда же ты успел его так скоро купить?

— Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, чёрт возьми, дал.

— Да ведь ты был в то время на ярмарке.

— Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке, и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

— Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою.

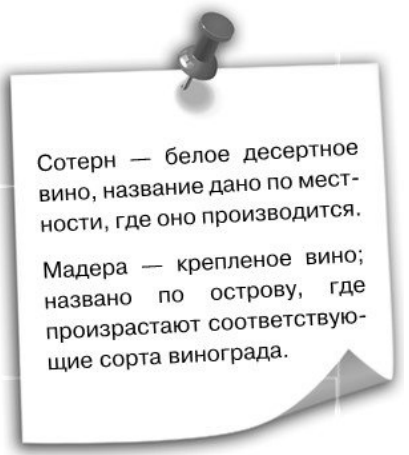


Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья, одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка окончивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход

поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графи-нею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субтильной сюперфлю, — слово, вероятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и

по другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем. Обед давно уже

кончился, и вина были перепробованы, но гости всё еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Всё-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.



— И ни-ни! не пущу! — сказал Ноздрев.

— Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду, — говорил зять, — ты меня очень обидишь.

— Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку.

— Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!

— Ну ее, жену, к..! важное в самом деле дело станете делать вместе!

— Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие… поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

— Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву.

— А и вправду! — сказал Ноздрев. — Смерть не люблю таких растепелей! — и прибавил вслух: — Ну, чёрт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк! [2]

— Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, — от-

---

[2] Примечания: 2

Фетюк — слово, обидное для мужчины, происходит от фиты, буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

вечал зять, — я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает… до слез разбирает, спросит, что видел на ярмарке, нужно всё рассказать, такая, право, милая.

— Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

— Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.

— Ну так и убирайся к ней скорее!

— Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу. — Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена немного слышала подробностей о ярмарке.

— Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. — Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь такой… с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

— А что, брат, — говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее,

так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

— А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Дай прежде слово, что исполнишь.

— Да какая просьба?

— Ну, да уж дай слово!

— Изволь.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?

— Ну есть, а что?

— Переведи их на меня, на мое имя.

— А на что тебе?

— Ну да мне нужно.

— Да на что?

— Ну да уж нужно… уж это мое дело, — словом, нужно.

— Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?

— Да что ж затеял? из этакого пустяка и затеять

ничего нельзя.

— Да зачем же они тебе?

— Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!

— Да к чему ж ты не хочешь сказать?

— Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так, пришла фантазия.

— Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

— Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор.

— Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.

— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить. — Врешь, брат!

Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

— Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись, — только, пожалуйста, не проговорись никому.

Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутораста крестьян недостает…

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.

— Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

— Езуит, езуит. Голову ставлю, что врешь!

— Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?

— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Если бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

— Ей-богу, повесил бы, — повторил Ноздрев, — я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

— Всему есть границы, — сказал Чичиков, с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы, — и потом присовокупил: — Не хочешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорош! Смотри ты! Что они у тебя, бриллиантовые, что ли?

— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение! Ты бы должен просто отдать мне их.

— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

— Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

— Да на что мне жеребец? Завода я не держу.

— Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя

возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

— Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

— Ну, купи каурую кобылу.

— И кобылы не нужно.

— За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.

— Да не нужны мне лошади.

— Ты их продашь: тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

— Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

— Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не зацепит!

— Да зачем мне собаки? я не охотник.

— Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как

честный человек, обошлась в полторы тысячи; тебе отдаю за девятьсот рублей.

— Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

— Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. — Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи.

— Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

— Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка.

«Эх, его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и ком-кость лап.

— Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, всё вместе!

— Не хочу, — сказал еще раз Чичиков.

— Отчего ж ты не хочешь?

— Оттого, что просто не хочу, да и полно.

— Экий ты, такой, право! с тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек!

— Да что же я, дурак, что ли? ты посуди сам: зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?

— Ну, уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик. Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.

— Ну, решаться в банк, значит подвергаться неизвестности, — говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно.

— Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности! Будь только на твоей стороне счастие, ты можешь выиграть чёртову пропасть. Вон она! экое счастье! — говорил

он, начиная метать для возбуждения задору. — Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я всё просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Чёрт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.

— Ну оттого, что не расположен. Да признаться сказать, я вовсе не охотник играть.

— Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

— Потому что не охотник.

— Дрянь же ты!

— Что же делать? так Бог создал.

— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким… никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!

— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних,

если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.

— Чёрта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам! Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобою никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель: «Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!»

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренно досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более

бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого роду, чтобы быть вверену Ноздреву… Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить чёрт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни… нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я», — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас чёрт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться чрез двор в конюшню, чтобы приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

— Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо.

— А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать; и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! И вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь:

штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

— Ей-богу! Да пребольно! Проснулся, чёрт возьми, в самом деле что-то почесывается, верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь, одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрагивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна была даже на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирульным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши. — Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю, купить, изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с чёрт знает чего. В банчик — другое дело. А? Прокинем хоть талию!

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки; выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастия или фальши: всё ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка сред-

ней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев.

— Это с какой стати? конечно, ничего.

— По крайней мере пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.

— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то, — сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только бог знал. — Нет, — сказал Чичиков, вставши из-за

стола, — с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!

— Отчего же по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как где место? — сказал Ноздрев, покраснев-ши. — Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня почитаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутовать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев, горячась, — игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать, — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая еще ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой… и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал их крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в

бешенстве, порываясь вырваться.

Услышав эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь окончивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать, — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим как в огне.

— Если б ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как

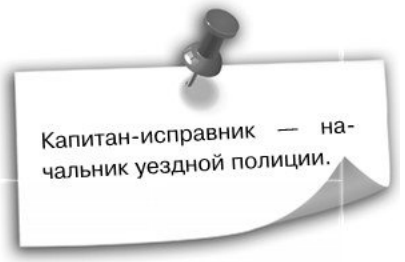
полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, всё пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что

душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя.

Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.



— Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне!

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да по-за спиною капитан-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

Глава V

Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он всё еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк, какую баню задал! смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточное. «Что ни говори, — сказал он сам в себе, — а не подоспей капитан-исправник, мне, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экий скверный барин! — думал про себя Се-

лифан. — Я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый был не в духе. Хотя ему на часть и доставался всегда овес похуже, и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!», но, однако ж, это всё-таки был овес, а не простое сено, он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особливо когда Селифана не было в конюшне; но теперь одно сено… нехорошо; все были недовольны.

Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней и почти над головами их раздалися крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера: «Ах ты мошенник эдакий; ведь я тебе кричал в голос:

сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так расскакался? глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся осаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было, всё перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на всё это с выражением страха в глазах и во всем лице. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — всё это в ней было так мило, что герой

наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами.

На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастию, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика сущая благодать, всё равно что для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали; несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться; словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с при-

ятелями, или просто дурь, только, сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было, ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! — кричали мужики. — Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжного, а на коренного пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черною, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли.

«Теперь дело пойдет! — кричали мужики. — Накаливай, накаливай его! пришпандорь кнутом вон того-то солового, что он корячится, как ко-

рамора!» [3]Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливание, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец, кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватили, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою.

Во всё продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и скучно-опрят-

[3] Примечания: 3

Корамора — большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или корячится, как говорит народ. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

ных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на всё то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или просто только что начавший жизненное поприще, и боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры и распеканья за промедление, позабыв

и себя, и службу, и мир, и всё, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабенка! — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. — Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, всё в ней просто, она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее всё можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю

жизнь, и выйдет просто чёрт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке

его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решёткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирченых стен, резных узоров и прочих затей, но всё было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, всё, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское,

круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихоструйного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» и повел его во внутренние жилья.

> Усадьба Собакевича указывает на его характер. Помещик стремится к надежности и удобству, забывая об изяществе и красоте. Даже хозяйственные постройки выполнены из толстых, вековых бревен, а колодец обделан корабельным дубом. Во всем виден, хотя и неуклюжий, но твердый порядок.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежье-

го цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча, хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что

еще не произошло никакого беспокойства.

> Фамилия Собакевича не столь однозначна, как может показаться. Героя сопровождают более широкие ассоциации с животным миром. Внешне он похож не на собаку, а на «средней величины медведя». Собакой (в данном случае – бранным словом) и мошенником он называет Плюшкина.
>
> Портрет Собакевича, как и в случае с другими персонажами-помещиками, строится через характеристику представляющего его обобщенного типа. По лирическому отступлению автора, подобные грубые, но основательные типы натура (природа) творит крупными чертами, это «крепкий и на диво стачанный образ». Главная ассоциация с героем, включая имя, – медведь.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Мавркордато в красных панталонах и мундире, с

очками на носу, Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно каким образом и для чего поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты

огуречным рассолом.

— Душенька, рекомендую тебе, — продолжал Собакевич, — Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» и сделав движение головою подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью, ни носом.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату и всё, что в ней ни было, — всё было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — всё было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый

стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагает начинать разговора, — в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.

— А прекрасный человек!

— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

— Председатель.

— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!

— Губернатор превосходный человек?

— Да, не правда ли?

— Первый разбойник в мире!

— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор

мог попасть в разбойники. — Признаюсь, этого я бы никак не подумал, — продолжал он. — Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. — Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!

«Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. — А вот заговорю я с ним о полицеймейстере? он, кажется, друг его».

— Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакий характер, прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.

— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой — мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

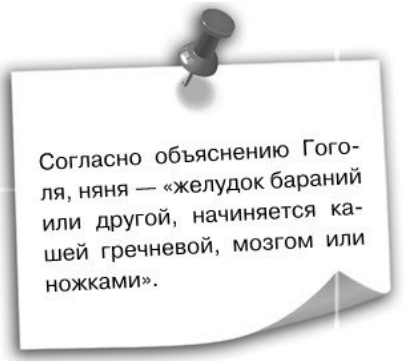
После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

— Что ж, душенька, пойдем обедать, — сказала Собакевичу его супруга.

— Прошу! — сказал Собакевич.

Засим, подошедши к столику, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме; что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст;

а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!



— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. — Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичикову, — вы не будете есть в городе, там вам чёрт знает что подадут!

— У губернатора, однако же, недурен стол, — сказал Чичиков.

— Да знаете ли, из чего это всё готовится? вы

есть не станете, когда узнаете.

— Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

— Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его да и подает на стол вместо зайца.

— Фу! какую ты неприятность говоришь, — сказала супруга Собакевича.

— А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Всё, что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

— Ты за столом всегда эдакое расскажешь, — возразила опять супруга Собакевича.

— Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке

валяется! Это всё выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкокостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это всё не то, это всё выдумки, это всё… — Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. — Толкуют — просвещенье, просвещенье, а это просвещенье — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так.

У меня когда свинина — всю свинью давай на стол; баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. — Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел всё, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура».

— У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки, — у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

— Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков.

— Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой

скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

— Вправду! — подхватил с участием Чичиков. — И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

— Как мухи мрут.

— Неужели как мухи? А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

— В пяти верстах.

— В пяти верстах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. — Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

Плюшкин имеет 800 душ крепостных крестьян и тем самым, согласно данным С.Н. Дурылина, может быть отнесен к 1,8 % богатых помещиков, владевших от 501 до 1000 душ. Для сравнения: к 1 % самых обеспеченных землевладельцев с более чем 1000 душами крепостных принадлежал другой литературный герой – Г.А. Печорин из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Далее сообщается, что у Плюшкина тысяча с

лишним душ, то есть он действительно принадлежит к кругу богатейших помещиков.

— Я вам даже не советую и дороги знать к этой собаке! — сказал Собакевич. — Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.

— Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, — отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что всё ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье — ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и изда-

вал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами: «Я хотел было поговорить с вами об одном дельце».

— Вот еще варенье! — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, — редька, варенная в меду!

— А вот мы его после! — сказал Собакевич. — Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем!

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», и хозяйка ушла.

Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются… Собакевич всё слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким

образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма… Собакевич всё слушал, наклонивши голову. И что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал всё по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но совсем не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

— Итак?.. — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волненья ответа.

— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собаке-

вич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — Несуществующих.

— Найдутся, почему не быть… — сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения… будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать, — сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Чёрт возьми, — подумал Чичиков про себя, — этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена, хотя, впрочем, это такой предмет… что о цене даже странно…

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, од-

нако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положив руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

— Эк куда хватили, по восьми гривенок!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, — говорил Чичиков,

однако ж по полтинке еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич. — Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, — прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако ж, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник! Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, понесло; полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги,

то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

Отстаивая непомерно высокую цену за умерших крестьян, Собакевич говорит о своих мужиках как о необыкновенно талантливых, умелых людях, настоящих живых душах. Каретник Михеев, мастер по изготовлению особо сложных и дорогих рессорных экипажей, трехаршинный (то есть в 2 метра и 13 сантиметров) великан, и другие крепостные составляют резкий контраст с миром помещиков.

— Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, — зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом приба-

вил: — Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? что это за люди? мухи, а не люди.

— Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту! — Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратился не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать, —

сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право, только для знакомства!

«Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака, что ли, принимает меня», и прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить… Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

— Мне не нужно знать, какие у вас отношения: я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

— Два рублика, — сказал Чичиков.

— Эк право, затвердила сорока Якова одно про

всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж чёрт его побери, — подумал про себя Чичиков, — по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

— Извольте, по полтине прибавлю.

— Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экий кулак!» — сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

— Да что в самом деле… как будто точно сурьезное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати?

— Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным

видом:

— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» — подумал Собакевич.

— Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

— Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

— Позвольте, позвольте! — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказанье за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

— Прошу прощенья! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостию, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся?» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

— Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

— Посидите одну минуточку, я вам сейчас ска-

жу одно приятное для вас слово. — Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: — Хотите угол?

— То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал, Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

— Какая ж будет ваша последняя цена? — сказал наконец Собакевич.

— Два с полтиною.

— Право, у вас душа человеческая всё равно что пареная репа. Уж хоть по три рубля дайте!

— Не могу.

— Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтобы всё было в порядке.

— Разумеется.

— Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся

выписывать всех не только поименно, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских, приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то тебя Бог! вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет: я думаю, ты всё был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет, кто уж кулак, тому не

разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выйдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: „Дай-ка себя покажу!“ Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно… Эх, если бы все кулаки!..»

Собакевич, объясняя уступку в цене за мертвые души, говорит о том, что у него «нрав собачий», то есть преданный и человеколюбивый. Это ирония, ведь на протяжении всей беседы с Чичиковым Собакевич, отзываясь о своих знакомых, почти исключительно ругал их, как бы облаивал подобно дворовой собаке.

— Готова записка, — сказал Собакевич, оборотившись.

— Готова? пожалуйте ее сюда! — Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости, — словом — любо было глядеть.

— Теперь пожалуйте же задаточек! — сказал Собакевич.

— К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

— Всё, знаете, так уж водится, — возразил Собакевич.

— Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да вот, десять рублей есть.

— Что ж десять! Дайте по крайней мере хоть пятьдесят!

Чичиков стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши:

— Пожалуй, вот вам еще пятнадцать, итого двадцать пять. Пожалуйте только расписочку.

— Да на что ж вам расписка?

— Всё, знаете, лучше расписочку. Не ровен час, всё может случиться.

— Хорошо, дайте же сюда деньги!

— На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписочку, в ту же минуту их возьмете.

— Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Чичиков выпустил из рук бумажки Собакеви-

чу, который, приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные ревизские души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.

— Бумажка-то старенькая! — произнес он, рассматривая одну из них на свете, — немножко разорвана, ну да между приятелями нечего на это глядеть.

«Кулак, кулак! — подумал про себя Чичиков, — да еще и бестия в придачу!»

— А женского пола не хотите?

— Нет, благодарю.

— Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

— Нет, в женском поле не нуждаюсь.

— Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.

— Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, — говорил Чичиков, прощаясь.

— Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться

во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, что посетили; прошу и вперед не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.

«Да, как бы не так! — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. — По два с полтиною содрал за мертвую душу, чёртов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакевича. Всё-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич всё еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет.

— Подлец, до сих пор еще стоит! — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, поднявши где-то на дороге

претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.

— Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтобы не мимо господского дома?

Мужик, казалось, затруднился таким вопросом.

— Что ж, не знаешь?

— Нет, барин, не знаю.

— Эх, ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?

— А! заплатанный, заплатанный! — вскрикнул мужик.

Было им прибавлено и существительное к слову заплатанный, очень удачное, но не употребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж всё еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пи-

шущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, всё равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко всё то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Для характеристики Плюшкина Гоголь использует интересный прием, упоминает прозвище, данное помещику мужиками, – заплатанный. Это портретная и одновременно психологическая характеристика. Одежда Плюшкина, как будет подробно описано в следующей главе, очень ветхая, а пониже спины у него видна «большая прореха», что указывает на его патологическую скупость.

Авторское лирическое отступление

посвящено силе, образности и точности русского слова, которое выражает мышление и мировоззрение русского народа и всего русского мира. Метко сказанное русское слово вырывается «из-под самого сердца», оно является плодом усилий не только ума, но прежде всего живой народной души.

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано по святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось

бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо-трепетало, как метко сказанное русское слово.

Глава VI

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, всё, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, всё останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, — ничто не ускользало от свежего, тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей

вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет, уже после супа, сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наруж-

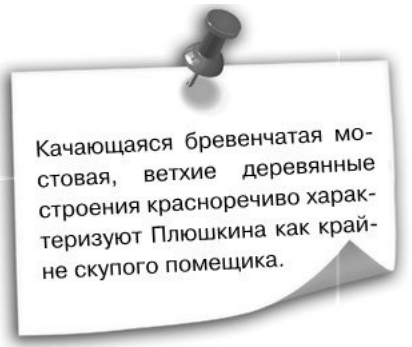
ностью, и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренно посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто.

Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее

пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка.



Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревянных строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тёс, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, — словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты

тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и на место их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывав-

шей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решётку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными, трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев.

Образ Плюшкина символически раскрывается через его приусадебный сад, обширный, теряющийся в поле, тенистый, «заросший и заглохший» и вместе с тем картинный даже в своем запустении.

Деревья в саду обвивает хмель, све-

шивающийся своими кольцами и цепляющийся за вершины следующих. Углубления в чащах зияют, как темная пасть. Все это мрачные предзнаменования знакомства с хозяином, «прорехой на человечестве».

Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было всё

окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перила, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, всё было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе

размеренной чистоты и опрятности.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших, наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Всё говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и всё глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину, ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места: в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят

деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — Ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура, с своей стороны, глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

— Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что барин?..

— Нет дома, — прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: — А что вам нужно?

— Есть дело.

— Идите в комнаты! — сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши

эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкап с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном парламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломанная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и

бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в рамку красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломанный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал всё странное убранство, отворилась боковая

дверь и взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков.

Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

— Что ж барин? у себя, что ли?

— Здесь хозяин, — сказал ключник.

— Где же? — повторил Чичиков.

— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — сказал ключник. — Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидеть; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного: оно было почти такое же, как у многих худощавых ста-

риков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано чтото такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик.

У этого помещика была тысяча с лишним душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушила загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин, выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по

улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и всё, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — всё тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон, уже рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда всё кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола всё, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и всё это клал на бюро или на окошко.

В портрете Плюшкина ключевую роль играет его одежда, не только небрежная, поношенная, но и ветхая. Богатейший помещик по виду напоминал нищего, которому хочется подать мелкую монету.

Другой важный прием создания образа Плюшкина – интерьер. В комнатах запущенного, как приусадебный сад, дома находится множество вещей ни для чего не пригодных, фактически – мусор.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Всё текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во всё входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли, или не рад был этому гость. В доме были открыты

все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел.

На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке; нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость; сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще

более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город с тем, чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш.

Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете, или нет. С каждым

годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения, покупщики торговались, торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкапу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать

ткачиха — всё это сваливалось в кладовые, и всё становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы.

Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внучков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где всё любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве

подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.

Значение фамилии Плюшкин не следует прямо связывать со словом плюшка

(сдобная булочка, закрученная спиралью). Оно образовано от плющить, то есть «раскатывать, делать плоским» (тесто); в другом смысле – искажать, деформировать. Такая деформация личности произошла с Плюшкиным из-за его все усиливавшейся скупости. Об этом говорит его биография, когда-то бережливого хозяина и семьянина.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков всё еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетелях и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на всё, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его

и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя чёрт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

— Я давненько не вижу гостей, — сказал он, — да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пре-неприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения… да и лошадей их корми сеном! Я давно уже отобедал, а кухня у меня такая прескверная, и труба-то совсем развалилась, начнешь топить, еще пожару наделаешь.

«Вон оно как, — подумал про себя Чичиков. — Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».

— И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! — продолжал Плюш-

кин. — Да и в самом деле, как прибережешь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак… того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!

— Мне, однако же, сказывали, — скромно заметил Чичиков, — что у вас более тысячи душ.

— А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысяча душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.

— Скажите! и много выморила? — воскликнул Чичиков с участием.

— Да, снесли многих.

— А позвольте узнать: сколько числом?

— Душ восемьдесят.

— Нет?

— Не стану лгать, батюшка.

— Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?

— Это бы еще слава богу, — сказал Плюшкин, — да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.

— Вправду? Целых сто двадцать? — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

— Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким, почти радостным, восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.

— Да ведь соболезнование в карман не положишь, — сказал Плюшкин. — Вот возле меня живет капитан, чёрт знает его, откуда взялся, говорит, родственник: «Дядюшка, дядюшка!» и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, на смерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует!

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его, и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями.

Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:

— Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?

— Нет, — отвечал Чичиков довольно лукаво, — служил по статской.

— По статской? — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. — Да ведь как же? Ведь это вам-то самим в убыток?

— Для удовольствия вашего готов и на убыток.

— Ах, батюшка! ах, благодетель ты мой! — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофея, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья. — Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!.. — Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе.

— Как же, с позволения вашего, чтобы не рас-

сердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них, что ли? и деньги будете выдавать мне или в казну?

— Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

— Да, купчую крепость… — сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. — Ведь вот купчую крепость — всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание, сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь.

«Ну ты, я думаю, устоишь!» — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет.

Услышав, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть

своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него, или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Чрез минуту было слышно, что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.

— Вот посмотрите, батюшка, какая рожа! — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем

на лицо Прошки. — Глуп ведь, как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? — Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. — Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачина! О, какой же ты дурачина!.. чего улепетываешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником, чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойди в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, — продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно.

Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал

про себя: «Ведь чёрт его знает; может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки: наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности, и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкапу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:

— Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? — Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. — Еще покойница делала, — продолжал Плюшкин, — мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая, я вам налью рюмочку.

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

— Пили уже и ели! — сказал Плюшкин. — Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь, он и не ест, а сыт; а как эдакий какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми… Ведь вот капитан — приедет: «Дядюшка, — говорит, — дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.

Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

— В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

— Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?

— Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! — вскричал он. — Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?

— И конечно к нему.

— Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, — появление было последнее. Глухо всё, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность

безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.

— Лежала на столе четвертка чистой бумаги, — сказал он, — да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! — Тут стал он заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде и наконец закричал: — Мавра! а Мавра!

На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:

— Куда ты дела, разбойница, бумагу?

— Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

— А вот я по глазам вижу, что подтибрила.

— Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю.

— Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.

— Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!

— Вот погоди-ка: на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!

— Да за что же припекут, коли я не брала и в

руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

— А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!

— А я скажу, не за что! ей-богу, не за что, не брала я… Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!

Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес: «Ну, что ж ты расходилась так: экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит — да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!»

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая расскакивалась

по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что всё еще останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Всё похоже на правду, всё может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек! но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.

— А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, — сказал Плюшкин, складывая письмо, — которому бы понадобились беглые души?

— А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков, очнувшись.

— В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер притопывать шпорой,

а если бы похлопотать по судам…

— А сколько их будет числом?

— Да десятков до семи тоже наберется.

— Нет?

— А ей-богу так! Ведь у меня что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего… А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в пятистах рублях.

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более; ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать… но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.

— А сколько бы вы дали? — спросил Плюшкин, и сам ожидовел; руки его задрожали, как ртуть.

— Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги.

— Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже

дали бы по сорока копеек.

— Почтеннейший! — сказал Чичиков, — не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу — почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

— А ей-богу так! ей-богу правда! — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. — Всё от добродушия.

— Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но… состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

— Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.

— По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?

— Нет. Всего наберется семьдесят восемь.

— Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет… — Здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: — Это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! — Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать распис-

ку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.

— А что, вы уже собираетесь ехать? — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. «Да, мне пора!» — произнес он, взявшись за шляпу.

— А чайку?

— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.

— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой,

да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я ужо снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог! А письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!

Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею, и, выбранивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые, немножко поиспорчены, да ведь он себе

переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, — прибавил он после некоторого размышления, — лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая нажива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и казалось, самые предметы перемешалися тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет, усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо вы-

ше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинали освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и чудными кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь

очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.

— Долго изволили погулять, — сказал половой, освещая лестницу.

— Да, — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. — Ну, а ты что?

— Слава богу, — отвечал половой, кланяясь. — Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.

— Поручик?

— Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.

— Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хоро-

шо! — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: — Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер!

— Да я их отпирал, — сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

Глава VII

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги, с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить всё печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался

с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Всё, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах… Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные

очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнца и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и всё обратит в упрек и поношенье непризнанному

писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей…

В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотрим, что делает Чичиков.

Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок,

ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри, — говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою, — какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо так, как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок благодаря халатным побужденьям русской натуры, и, по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить всё, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячим.

Гоголь начинает VII главу с лирического отступления о своем творческом кредо (с лат. credo – верую; начало Симво-

ла веры). Писатель сравнивает авторов, обращающихся к идеальным образам и вызывающих восхищение читателей, со своим тернистым путем, предполагающим описание дурного и порочного в человеке. Его дорога тяжела, публике он чужд, в его картинах мир видит лишь смех, а ему остаются невидимые никому слезы и горечь. Но таков путь писателя-христианина. Гоголь продолжает традицию великого сатирика XVIII века Антиоха Дмитриевича Кантемира.

Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами «Тысяча восемьсот такого-то года», потом вслед за тем мелкими «Я, помещик такой-то», и всё, что следует. В два часа готово было всё. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы

самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностию, ни одно из похвальных качеств мужика не было пропущено: об одном было сказано «хороший столяр», к другому приписано было «смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии, это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не

утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был, или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибрало?

Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“, а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! пьян как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу

повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом.

А как кончилось твое ученье: „А вот теперь я заведусь своим домком, — сказал ты, — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею“. И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то в тридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: „Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку: всё немцы мешают“. Это что за мужик: Елизавета Воробей? Фу ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была приписана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уваженье и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши

тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу Богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина, — вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина, или просто, по своей охоте, гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите, или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты

стоишь бодро на очной ставке. „Чей ты?“ — говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. — „Такого-то и такого-то помещика“, — отвечаешь ты бойко. — „Зачем ты здесь?“ — говорит капитан-исправник. — „Отпущен на оброк“, — отвечаешь ты без запинки. — „Где твой пашпорт?“ — „У хозяина, мещанина Пименова“. — „Позвать Пименова! Ты Пименов?“ — „Я Пименов“. — „Давал он тебе пашпорт свой?“ — „Нет, не давал он мне никакого пашпорта“. — „Что ж ты врешь?“ — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. — „Так точно, — отвечаешь ты бойко, — я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю“. — „Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?“ — „Нет, не получал я от него пашпорта“. — „Что ж ты опять врешь! — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. — Где ж твой пашпорт?“ — „Он у меня был, — говоришь ты проворно, — да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его“. — „А солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, — зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными

деньгами?“ — „Никак нет, — говоришь ты, не сдвинувшись, — в воровском деле никогда еще не оказывался“. — „А почему же шинель нашли у тебя?“ — „Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее“. — „Ах ты бестия, бестия! — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. — А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму“. — „Извольте! я с удовольствием“, — отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: „Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!“ Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли

он над участью Абакума Фырова, или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов! — сказал наконец Чичиков, взглянув на часы. — Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загородил околесину,

а потом задумался. Экий я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и с бумагами под мышкой отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать, опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанью присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додраться; но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось всё неспокойно и неловко; всё-таки приходила мысль, что души не совсем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя обо всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся с господином тоже в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга

в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

— Это что?

— Мужички.

— А! — Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. — Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это так искусно сделал каемку?

— Ну, уж не спрашивайте, — сказал Манилов.

— Вы?

— Жена.

— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанес столько затруднений.

— Для Павла Ивановича не существует затруднений.

Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. В подобных взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места; большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому.

Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем

и мелом; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа иногда высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны, летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней; и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не

знает, как там всё благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельцо за № 368!» — «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и

спросили:

— Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?

— А что вам нужно? — сказали оба чиновника, оборотившись.

— А мне нужно подать просьбу.

— А вы что купили такое?

— Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?

— Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать.

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

— Послушайте любезные, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.

Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли

промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям?

Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:

— Здесь нет дел по крепостям.

— А где же?

— Это в крепостной экспедиции.

— А где же крепостная экспедиция?

— Это у Ивана Антоновича.

— А где же Иван Антонович?

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.

— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слыхал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед

и пошла в нос, — словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом.

— Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? — сказал Чичиков.

— Здесь! — сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

— А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод, купчая есть, остается совершить.

— А продавцы налицо?

— Некоторые здесь, а от других доверенность.

— А просьбу принесли?

— Принес и просьбу. Я бы хотел… мне нужно поторопиться… так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?

— Да, сегодня! сегодня нельзя, — сказал Иван Антонович. — Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений.

— Впрочем, что до того, чтобы ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг…

— Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие, — сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал:

— Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю…

— Идите к Ивану Григорьевичу, — сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее, — пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

— Вот он вас проведет в присутствие! — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Виргилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом за зерцалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Виргилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести

туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Приход гостей произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями; спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил:

— А ваше как здоровье?

— Слава богу, не пожалуюсь, — сказал Собакевич. И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот

на диво сформованный помещик.

— Да вы всегда славились здоровьем, — сказал председатель, — и покойный ваш батюшка был также крепкий человек.

— Да, на медведя один хаживал, — отвечал Собакевич.

— Мне кажется, однако ж, — сказал председатель, — вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.

— Нет, не повалю, — отвечал Собакевич, — покойник был меня покрепче, — и, вздохнувши, продолжал: — Нет, теперь не те люди; вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе…

— Чем же ваша жизнь не красна? — сказал председатель.

— Нехорошо, нехорошо, — сказал Собакевич, покачав головою. — Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело, веред или чирей выскочил… Нет, не к добру! когда-нибудь придется поплатиться за это. — Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его! — подумали в одно время и Чичиков и председатель, — на что вздумал пенять!»

— К вам у меня есть письмецо, — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

— От кого? — сказал председатель и, распечатавши, вскликнул: — А! от Плюшкина. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба! Ведь какой был умнейший, богатейший человек! А теперь…

— Собака, — сказал Собакевич, — мошенник, всех людей переморил голодом.

— Извольте, извольте, — сказал председатель, прочитав письмо, — я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?

— Теперь, — сказал Чичиков, — я буду просить даже вас, если можно, сегодня; потому что мне завтра хотелось бы выехать из города: я принес и крепости и просьбу.

— Всё это хорошо, только, уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы всё-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ, — сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам. — Иван Антонович здесь?

— Здесь, — отозвался голос извнутри.

— Позовите его сюда!

Уже известный читателям Иван Антонович

кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.

— Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости…

— Да не позабудьте, Иван Григорьевич, — подхватил Собакевич, — нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома: за него всё делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть, кто поближе, Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!

— Именно, именно! — сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

— Еще я попрошу вас, — сказал Чичиков, — пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирила; он служит у вас же.

— Как же, пошлем и за ним! — сказал председатель. — Всё будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить. — Сказавши это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану

Антоновичу, как видно, ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выраженьем большого удовольствия и наконец сказал:

— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели.

— Приобрел, — отвечал Чичиков.

— Благое дело! Право, благое дело!

— Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека всё еще не определена, если он не стал наконец твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. — Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была всё какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова, из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погрузясь

в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрыпку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

— Да что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, — отозвался Собакевич, — что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева.

— Нет, будто и Михеева продали? — сказал председатель. — Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же… Ведь вы мне сказывали, что он умер…

— Кто, Михеев умер? — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. — Это его брат умер, а он преживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему по-настоящему только на одного государя и работать.

— Да, Михеев славный мастер, — сказал председатель, — и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.

— Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников

Максим, сапожник, — ведь все пошли, всех продал. — А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: — А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру! — Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: — Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума.

— Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян, без земли? разве на вывод?

— На вывод.

— Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

— В места… в Херсонскую губернию.

— О, там отличные земли! — сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав.

— А земли в достаточном количестве?

— В достаточном, столько, сколько нужно для купленных крестьян.

— Река или пруд?

— Река. Впрочем, и пруд есть. — Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице

его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река, и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову: недостававшие и лишние набраны были тут же из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирила, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно, крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в «Ведомостях», и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая неизвестно каким образом отнесена была на счет какого-то другого просителя.

— Итак, — сказал председатель, когда всё было

кончено, — остается теперь только вспрыснуть покупочку.

— Я готов, — сказал Чичиков. — От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего.

— Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим, — сказал председатель, — это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что, господа! Покамест что, а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так как есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, как закусим! да при этой оказии и в вистишку.

От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименованье рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову: «Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды дали только одну беленькую».

— Да ведь какие крестьяне, — отвечал ему на

это тоже шёпотом Чичиков, — препустой и преничтожный народ, и половины не стоит.

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.

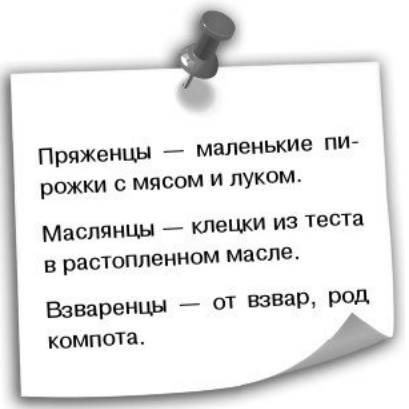
— А почем купили душу у Плюшкина? — шепнул ему на другое ухо Собакевич.

— А Воробья зачем приписали? — сказал ему в ответ на это Чичиков.

— Какого Воробья? — сказал Собакевич.

— Да бабу, Елисавету Воробья, еще и букву ъ поставили на конце.

— Нет, никакого Воробья я не приписывал, — сказал Собакевич и отошел к другим гостям.



Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо, да прибавил только: «Понимаешь!», а уж там в другой комнате в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки, — это всё было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки девятипудового осетра, другой пирог с груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как родной в семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места, или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих пред-

шественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как. Если узнает, что детёныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует; словом, молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку». — «Да, Алексей Иванович, — отвечал тот, снимая шапку, — нужно бы». — «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложи в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы, обыкновенно в это время снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобресть совершенную народность, и мнение купцов было

такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведенье природы?» подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведенья природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, ко-

торая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную, маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе: «Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?»

— Женим, женим! — подхватил председатель. — Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим.

— Что ж? зачем упираться руками и ногами, — сказал, усмехнувшись, Чичиков, — женитьба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста.

— Будет и невеста, как не быть, всё будет, всё,

что хотите!

— А коли будет…

— Браво, остается! — закричали все, — виват, ура, Павел Иванович! ура! — И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках. Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет, еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались; потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселился, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» и даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и эдакий камаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всем, об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении, воображал себя

уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастии и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую, засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания: собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но наконец сапоги были сняты, барин разделся как следует и, поворо-

чавшись несколько времени на постели, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагуря дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую; именно перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и бривших и не бривших бороды, и в нагольных тулупах и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное мол-

чание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними всё угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.

Глава VIII

Покупки Чичикова сделались предметом разговоров в городе. Пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, — говорили иные, — это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой». — «Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич; но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь». — «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу». — «Но, Иван Гри-

горьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил, каков мужик у Чичикова. Позабыл ты, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения». — «Так, так, на это я согласен, это правда, никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже». — «Никогда, никогда, — говорил управляющий казенными фабриками, — поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изольются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были пред глазами Чичикова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за

всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам-таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника». — «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Он может найти и управителя». — «Да, найдете управителя: все мошенники!» — «Мошенники потому, что господа не занимаются делом». — «Это правда, — подхватили многие. — Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да умей различать людей, у него будет всегда хороший управитель». Но управляющий сказал, что меньше как за пять тысяч нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющий сказал: «Где же вы его сыщете? разве у себя в носу?» Но председатель сказал: «Нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно: Петр Петрович Самойлов, вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова!» Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его

существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник, хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода: были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостию, едва ли не излишнею; были, однако же, и такие, которые дышали кротостию. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению; ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обученья.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщали даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровожденья крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им кре-

стьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может.

Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно пронеслись слухи, что он не более, не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь после таких слухов полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они всё были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг, Илья Ильич!», «Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!», «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич».

К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» Словом, всё было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и слово «чу!» так, что

в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «судырь ты мой, эдакий какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно, так сказать, некоторым образом» и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что всё придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчет

благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузанчика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города; только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» — словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны… с другой стороны,

просто трудно. Дамы города N. были… нет, никаким образом не могу; чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то… Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слова два о наружности да о том, что поповерхностней. Дамы города N. были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни

старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах своих дамы города N. были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ними и происходило какое-нибудь то, что называют *другое-третье*, то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось всё достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел *другое-третье* или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: кому какое дело, что кума с кумом сидела. Еще нужно сказать,

что дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностию и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь в роде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело, там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города N., говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничась поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор, как пронеслись слухи

об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово: «миллионщик», не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни сё ни то, и на людей хороших, — словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить явно, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины, что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человека. В дамских нарядах

оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо: откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!» Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки; потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по

своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать: «Что жизнь наша? Долина, где поселились горести. Что свет? Толпа людей, которая не чувствует». Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете; приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом; окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах.
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах.

В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В postscriptum [4]было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую и что на бале у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам ориги-

[4] Примечания: 4
В приписке *(лат.)*.

нал.

Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!» Словом, дело, как видно, сделалось сурьезно; более часу он всё думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано!» Потом, само собою разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какою-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему, точно, приглашенье на бал к губернатору — дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.

Всё постороннее было в ту ж минуту оставлено и отстранено прочь, и всё было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого созданья света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица

в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты мордашка эдакий!», и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во всё время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстух, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостию и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод и упала со стола щетка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Всё, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнес-

ши: «а нижний земский суд отвечает на это…», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах боже мой, Павел Иванович! Любезнейший Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы — откупщику, откупщик — архитектору… Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфектный билет и болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку, — только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вве-

ренных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники; смеются от души те, которые от него подалее и которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей, у самого выхода, какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху

да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных, бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Всё было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное всё было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя»,

эфирно обнимал и обвивал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною свежестью и полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, — словом, кажется, как будто на всем было написано: «Нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!» Только местами вдруг высовывался какой-нибудь невиданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо, в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во

всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — всё поднялось и понеслось…

— Вона! пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад, и как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать, нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет, — сказал сам в себе Чичиков, — женщины, это такой предмет… — Здесь он и рукой махнул: — Просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать всё то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки, а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек — и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный: бог их знает, какого нет

еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге, так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений, по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии. А вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно,

чтобы всё было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, — словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рот да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода; но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее.

В просторечном слове *галантёрная* комически соединяются значения: галантный и галантерейный. Так завершается размышление Чичикова о светских женщинах, в образе которых сделан акцент на внешнем облике. Их одежда служит искусству кокетства и соблазнения, а значит – их бездуховности. Резко контрастируют с образами женщин из «Мертвых душ» авторские рассуждения о высокой миссии светской дамы – христианки в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить

внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он наконец сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щёголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать

это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.

Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, — что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла ласковым и несколько даже лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!..» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами. Герой наш поворотился в ту

же минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.

Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку, с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для Мадонны и какое только редким случаем попадается на Руси, где любит всё оказаться в широком размере, всё что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги; ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал чёрт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.

— Вы не знаете еще моей дочери? — сказала

губернаторша. — Институтка, только что выпущена.

Он отвечал, что уже имел счастие нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков всё еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на всё, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, не платок ли, но платок в кармане, не деньги ли, но деньги тоже в кармане, всё, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску, и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и

вопросов, проникнутых насквозь тонкостию и любезностию: «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?», «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?», «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на всё решительным невниманием, и приятные фразы канули как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренно решилась употребить все возможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход всё, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, я говорю у некоторых, это не то, что у всех, есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза, и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос» или «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно

восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!», а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностию опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, — которая приехала вовсе не с тем, чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги, — не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову. Но всё это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая

промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колебалась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собой целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказа-

лась какая-то неловкость.

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви, но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, и всё подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.

Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов, но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но… здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики, и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая мно-

жество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Флора Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами Софьей Александровной и Маклатурой Александровной.

Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось, вместе с запахом фиалок, довольно

колкое и язвительное замечание. Но или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо; ибо мнением дам нужно дорожить: в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть поздно.

Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели после наглого завладения стулом.

В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи

были приписаны тут же Чичикову. Негодование росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.

А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею, или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться;

ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но как на беду, в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судиею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет; а между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу.

— А, херсонский помещик, херсонский помещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. — Что? много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство, — горланил он тут же, обратившись к губернатору, — он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь, я бы тебя повесил, ей-богу повесил!

Чичиков просто не знал, где сидел.

— Поверите ли, ваше превосходительство, — продолжал Ноздрев, — как сказал он мне: «Продай мертвых душ», я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на три миллиона крестьян на вывод. Каких на вывод! Да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты

скотина, ей-богу скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, нимало не обращая внимания, нес полутрезвую речь: — «Уж ты, брат, ты, ты… я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот, я тут стою, а вы бы сказали: „Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?“ — скажу: „Чичиков“, ей-богу… Позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!»

Ноздрев был так оттолкнут с своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но всё же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом,

что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою, и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!», а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да, это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наго-

ворятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и не достойно, чтобы о нем говорить.

Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно; точь-в-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу, — словом, нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но всё пошло как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на Бога. Конечно, почтмейстер, и председатель, и даже сам полицеймейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено; но всё это никак его

не утешало, как он ни пробовал усмехаться и отшучиваться.

За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандалёзно. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки — всё сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостию предложить их дамам.

Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие; но он был похож на какого-то человека, уставшего или

разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать.

Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мыслей и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас чёрт побрал всех, кто выдумал эти балы! — говорил он в сердцах. — Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. Кричат: „Бал, бал, веселость!“ Просто дрянь бал,

не в русском духе, не в русской натуре, чёрт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чёртик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривается с другим об важном деле, а ногами в то же самое время, как козленок, вензеля направо и налево… Всё из обезьянства, всё из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право… после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспомнить даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком; всего он наговорит, всего слегка коснется, всё скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Ну если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто чёрт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так отзы-

вался неблагоприятно Чичиков о балах вообще; но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодованья. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что всё это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует.

Но странен человек: его огорчало сильно нерасположенье тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется чёрт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка, пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро

нашел ближнего, который потащил на плечах своих всё, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым, опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели.

Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забу-

бённым народом дорогу, — в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхожденья, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, лицо, известное под именем «малого». Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города буточника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи:

«Кто идет?», но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте, после чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась перед воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка с платком на голове, в телогрейке, и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки).

Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое при-

шла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город, несмотря на то что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешева. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей… но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.

Глава IX

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N. для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что всё еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!» Кучер уже два раза получал приказание: «Поско-

рее, поскорее, Андрюшка! Ты сегодня несносно долго едешь!» Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, с белыми барельефчиками над окнами, с высокою деревянною решет-кою перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткою которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилией опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать всё, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам, — боже сохрани, и того опасней. Теперь

у нас все чины и сословия так раздражены, что всё, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположенье в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность: вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп», — словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму, к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе N., именно дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась ух какая юркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но всё это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, и все согласились, что она, точно, дама приятная во всех

отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее: просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже выбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголочек! — говорила хозяйка,

усаживая гостью в угол дивана. — Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а губы четвероугольником. «Как же я рада, что вы… Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: „Вице-губернаторша“, а я говорю: „Ну, вот опять приехала дура надоедать“, — и уж хотела сказать, что меня нет дома…»

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

— Какой веселенький ситец! — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон

голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.

— Милая, это пестро.

— Ах, нет, не пестро.

— Ах, пестро!

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению и отвергала весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула…

— Да, поздравляю вас: оборок более не носят!

— Как не носят?

— На место их фестончики.

— Ах, это нехорошо, фестончики!

— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

— Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики.

— Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и сверху… Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уже

когда скажете, что… Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ: юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам.

— Ну, уж это просто: признаюсь! — сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движенье головою с чувством достоинства.

— Именно, это уж, точно, признаюсь! — отвечала просто приятная дама.

— Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому.

— Я сама тоже… Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода… ни на что не похоже! я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

— Так у вас разве есть выкройка? — вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движенья.

— Как же, сестра привезла.

— Душа моя, дайте ее мне ради всего святого.

— Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее.

— Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей

стороны, если вы чужих предпочтете своим.

— Да ведь она тоже мне двоюродная тетка.

— Она вам тетка еще бог знает какая: с мужниной стороны… Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанесть такое оскорбление… видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство.

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык свой.

— Ну что ж наш прелестник? — сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

— Ах, боже мой! что ж я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы не знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? — Тут дыхание гостьи сперлось, слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее.

— Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его, — говорила она с живостью, более нежели обыкновенною, — а я скажу прямо, и ему в гла-

за скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный.

— Да послушайте только, что я вам открою…

— Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него… самый неприятный нос.

— Позвольте же, позвольте же только рассказать вам… душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар, — говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

— Какая же история?

— Ах, жизнь моя Анна Григорьевна, если бы вы

могли только представить то положение, в котором я находилась! Вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша, отца Кирилы жена, и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

— Как, неужели он и протопопше строил куры?

— Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда всё уже спало в доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!..» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?

— Да что Коробочка? разве молода и хороша собою?

— Ничуть, старуха.

— Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

— Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только

то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: «Продайте, — говорит, — все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые». — «Нет, — говорит, — они не мертвые, это мое, — говорит, — дело знать, мертвые ли они или нет; они не мертвые, не мертвые, — кричит, — не мертвые!» Словом, скандальозу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, всё кричит, никто никого не понимает, — ну просто оррёр, оррёр, оррёр!.. Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала всё это. «Голубушка барыня, — говорит мне Машка, — посмотрите в зеркало: вы бледны». — «Не до зеркала, — говорю, — мне; я должна ехать рассказать Анне Григорьевне». В ту ж минуту приказываю заложить коляску; кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась!

— Это, однако ж, странно, — сказала во всех отношениях приятная дама, — что бы такое могли

значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я всё слышу про эти мертвые души; а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет: что-нибудь, верно же, есть.

— Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала, это. «И теперь, — говорит Коробочка, — я не знаю, — говорит, — что мне делать. Заставил, — говорит, — подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнациями; я, — говорит, — неопытная, беспомощная вдова, я ничего не знаю…» Так вот происшествия! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.

— Но только, воля ваша, здесь не мертвые души, здесь скрывается что-то другое.

— Я, признаюсь, тоже, — произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: — А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

— Ну, как вы думаете?

— Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потрясена.

— Но, однако ж, я бы всё хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

— Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души, — сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух; ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и йора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, обращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные

звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

— Мертвые души… — произнесла во всех отношениях приятная дама.

— Что, что? — подхватила гостья, вся в волненье.

— Мертвые души!..

— Ах, говорите ради бога!

— Это просто выдумано только для прикрытья, а дело вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками, — уж этого я бы никак не могла предполагать.

— А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело, — отвечала дама приятная во всех отношениях.

— Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

— Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не

станет духа произнести их.

— Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

— А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней… Манерна нестерпимо.

— Ах, жизнь моя Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженье в лице.

— Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

— Душенька! она статуя и бледна как смерть.

— Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно.

— Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел.

— Милая, я сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.

— Ну позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего именья, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь

румянца!

— Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна! — сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

— Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумленьем на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были несогласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

— Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна, — продолжала приятная дама, — я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник… Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.

— Да, однако ж, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.

— Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!

— Да я не говорю об вас, как будто, кроме вас, никого нет.

— Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных.

— Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось. За кем другим разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить.

— Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.

Ну, уж после таких слов, произнесенных приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделан-

ного ее искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать, чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми! съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола.

— Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.

— А вы думаете, нет их?

— А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?

— Ну да хоть и Ноздрев.

— Неужели Ноздрев?

— А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца готов продать или, еще лучше, проиграть в карты.

— Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю!

— А я всегда предполагала.

— Как подумаешь, право, чего ни происходит на свете: ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете. Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба… вот уже, точно, на краю погибели… куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть: «Душечка барыня, — говорит мне, — вы бледны как смерть». — «Машка, — говорю, — мне не до того теперь». Так вот какой случай! Так и Ноздрев здесь, прошу покорно!

Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать: предположить что-нибудь — это другое дело, но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении; если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя, и попробовал бы какой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь, увидел бы он, что значит

внутреннее убеждение.

Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наша братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? или: не нужно ли под этим народом разуметь вот какой народ? Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает на них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, — и рассуждение заключено словами: так это вот как было, так вот какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет! Потом во всеуслышанье с кафедры, — и новоот-

крытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников.

В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижною своею физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы наперерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку, так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован; всё пришло в брожение, и хотя бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком.

Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города.

Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно; и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах, как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые

деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направленье такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был… Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина?

Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет.

Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто чёрт побери!.. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и всё, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на

портного, то на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, всё равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями); все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи, с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N. уже давно

не получал никаких совершенно вестей. Даже не приходило в продолжение трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комеражами, что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовалися вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души.

Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности.

Таково уже, видно, самое назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Всё у них скоро приняло самый определительный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор давно бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил (откуда они узнали, что Чичиков женат, — это никому не было ведомо), и что жена,

которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали наконец в самые глухие переулки. На Руси же общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и наконец, так как есть, во всей своей окончательности, доставлен

был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец, как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование, во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала самый неприятный tête-a-tête [5], какой только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова; швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.

Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы насели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвести похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей,

---

[5] Примечания: 5
Разговор один на один *(фр.)*.

обругавших их бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужеского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Всё у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях, — одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, не способная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что всё это вздор, что похищение губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок: что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, чёрт его знает, что значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор — событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут пе-

реборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных! «Ну что, — думали чиновники, — если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел, ему представилось бог знает что: что под словом *мертвые души* не разумеются ли больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос: «А что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? а он допустил совершить на них крепость, да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда?» Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких

даже не было. Слово *мертвые души* так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим усть-сысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили: носились слухи, будто при повинной голове они приложили по четыре государственные каждый; впрочем, дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсысольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили,

как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлово-тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сюртук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам

и поступило наконец в палату, где было рассужено сначала наедине в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было так: что заседатель Дробяжкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, однако ж, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что по дошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного

преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявящий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову, однако ж все, как поразмыслили каждый со своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь всё это как-то темно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более: стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое… Да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником, наружность благонамеренна, но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе вначале,

то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы по крайней мере узнать, что за покупка, и что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь, настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой. Прежде всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули не много: купил-де за пятнадцать рублей, и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался накупить, в казну сало тоже ставит, и потому наверно плут, ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех и протопопшу надул более чем на сто рублей. Всё, что ни говорила она далее, было повторение почти одного и того же, и чиновники увидели только, что Коробочка была просто глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда он готов ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы и симпатии уже с зажмуренными глазами. Эти

мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ во всех отношениях живой; но что он не ручается за то, что случится вперед, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, и в том властен Бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают-де целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредством разных лакейских знакомств, расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но услышали тоже не много. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государскую, да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает, а если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его,

и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных. Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города.

Глава X

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного содержания, и эти бог знает какие слухи — всё это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Всё подалось: и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа, но их было весьма немного: почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас, может быть, три-четыре переменится, а я вот

уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен зи дейч Иван Андрейч; у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию, разве только надуешь, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится чёрт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, сполагоря, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил бог такою благодатию, что год, то несет: либо Праскушку, либо Петрушку, тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против чёрта, об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует

препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это, видно, уже народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как-то клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на всё. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что всё сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода: оно образовалось вследствие необходимости. Не

о каких-либо бедных или посторонних шло дело, дело касалось всякого чиновника лично, дело касалось беды, всем равно грозившей, стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло чёрт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность: один говорил, что Чичиков делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а может быть, и не делатель»; другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял: «а, впрочем, чёрт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все; нашли, что сверх наружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками. Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно: «Знаете ли, господа, кто это?» Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно

слово: «А кто?» — «Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!» А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» — почтмейстер сказал: «Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?»

Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.

— Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, открывший свою табакерку только вполовину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка: вы пальцами своими, может быть, невесть в какие места наведываетесь, а табак — вещь, требующая чистоты». — Капитан Копейкин, — повторил он, уже понюхавши табаку, — да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.

Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почтмейстер, презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму, и он начал так:

ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ

Пытаясь разгадать загадку, кто же такой Чичиков, почтмейстер рассказывает «Повесть о капитане Копейкине». Несмотря на то что по ее окончании становится понятно, что физически здоровый Чичиков не мог быть капитаном Копейкиным, потерявшим на войне руку и ногу, возникающее по ассоциации сопоставление персонажей очень важно.

— После кампании двенадцатого года, судырь ты мой, — так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро, — после кампании двенадцатого года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу; отец

говорит: «Мне нечем тебя кормить, я, можете представить себе, сам едва достаю хлеб». Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, судырь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: «что вот-де, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь…» Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными, — словом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе, эдакий какой-нибудь, то есть капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакий, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, чёрт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакий какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чёртом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения, — словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только всё это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры — Персия целиком; ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну просто, то есть, идешь по улице, а уж

нос твой так и слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. Ну, как-то там приютился в ревельском трактире за рубль в сутки; обед — щи, кусок битой говядины… Видит, заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть, в некотором роде, высшая комиссия, правление, понимаете, эдакое, и начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице; войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа, всё было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, — потому что платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон», — говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала, так что вазы и всё, что там ни есть в комнатах, кажутся как бы внаруже: мог бы, в некотором роде, достать с улицы рукой; драгоценные марморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у

дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее, — словом: лаки на всем такие — в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь, батистовые воротнички, канальство!.. Копейкин мой встащился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию — раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит наконец адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, — говорит, — сейчас выйдет в приемную». А в приемной уж народу, как бобов на тарелке. Всё это не то что наш брат холоп, всё четвертого или пятого класса, полковники,

а кое-где и толстый макарон блестит на эполете — генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: «шу, шу», и наконец тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну… можете представить себе: государственный человек! В лице, так сказать… ну, сообразно с званием, понимаете… с высоким чином… такое и выраженье, понимаете. Всё, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решенья, в некотором роде, судьбы. Министр или вельможа подходит к одному, к другому: «Зачем вы? зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?» Наконец, судырь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом: «Так и так, ваше превосходительство: проливал кровь, лишился, в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости». Министр видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру. «Хорошо, — говорит, — понаведайтесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге: одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею; а другое то, что вот теперь наконец решится, в некотором роде, насчет пенсиона. В духе, понимаете, таком,

подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в «Лондоне», приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями; спросил бутылку вина, ввечеру отправился в театр, — одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакий. Мой Копейкин, кровь-то, знаете, разыгралась в нем, побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом — «да нет, — подумал, — пусть после, когда получу пенсион; теперь уж я что-то расходился слишком». Вот, судырь мой, каких-нибудь через три-четыре дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выходу. «Так и так, — говорит, — пришел, — говорит, — услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами…» и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал: «А, — говорит, — хорошо, — говорит, — на этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя; тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я

ничего не могу сделать». Поклон, понимаете, и — прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги: «На тебе, голубчик, пей да веселись»; а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил. «Ну, нет, — думает себе, — пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю — не поможете, должен умереть, в некотором роде, с голода». Словом, приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую набережную, говорят: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». На другой день — тоже; а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок; а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый да хлеба на два гроша, — словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакий с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук, белизною равный снегам,

работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями, — словом, рассупе деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок: там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакий, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей, — словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем всё: «завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то ему подносят всё одно и то же блюдо: «завтра». Наконец сделалось бедняге, в некотором роде, невтерпеж, решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? зачем вы? А! — говорит, увидевши Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». — «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба…» — «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать; старайтесь покамест помочь

себе сами, ищите сами средств». — «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги». — «Но, — говорит сановник, — согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счет; у меня много раненых, все они имеют равное право… Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит». — «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний; дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, — минута упущения может быть важна, — а тут еще привязался с боку неотвязчивый чёрт. «Извините, — говорит, — мне некогда… меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в некотором роде, тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин, — голод-то, знаете, пришпорил его: «Как хотите, ваше высокопревосходительство, — говорит, — не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну… можете представить: отвечать таким обра-

зом вельможе, которому стоит только слово, так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и чёрт тебя не отыщет… Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, — говорит, — если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!» А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, дантист эдакий… Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем. «Ну, —

Копейкин думает, — по крайней мере не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, хорошо, — говорит, — я, — говорит, — найду средства!» Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно: но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаманто этой шайки был, судырь мой, не кто другой…

Копейкин, подобно литературным героям Вальтера Скотта, – «благородный разбойник», вступившийся за бедных. Чичиков – просто мошенник. Фамилия Копейкин происходит от слова *копейка*, монеты, получившей название от изображенного на ней московского герба – всадника с копьем, Георгия Победонос-

ца. С Чичиковым же связано значение именно монеты, денег, корысти, ведь его отец дал ему завет: «береги и копи копейку».

— Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг, прервавши его, полицеймейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова…

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: русский человек задним умом крепок. Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было.

Но все очень усумнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер

хватил уже слишком далеко. Впрочем, они с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно, странно даже и сказать, что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон. «Смотри, мол, — говорит, — если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

Напуганным чиновникам кажется, что Чичиков – переодетый император Франции Наполеон (1769–1821). Гоголь создает не только комическую ситуацию, но и аллюзию на пушкинскую «Пиковую даму». По словам Томского, персонажа этой повести, у одержимого идеей обо-

гащения за счет карточного выигрыша Германна – «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». На рубеже XVIII–XIX вв. была очень популярна теория, что Наполеон – посланный на землю антихрист, что нашло отражение в произведениях Г.Р. Державина, Л.Н. Толстого.

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут всё это невероятным, автор тоже в угоду им готов бы назвать всё это невероятным; но как на беду всё именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что всё это происходило вскоре после достославного

изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались по крайней мере на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немилосердо и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. Вместо вопросов: «Почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались вчерашней порошей?» говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже

невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что всё это не то. Думали, думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев. Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты, сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, всё проникнутое согласием и высокою мудростью

простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились наконец и за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом; целые четыре

дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, — словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще по крайней мере на две недели; во всё продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к чёрту, но когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту ж минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости

и уверенности. Он отвечал на все пункты, даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать; на вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пьявок, то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что всё были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего.

Тут он и спохватился было, видя, что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп отец Сидор, за венчание семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михаила на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли по крайней мере чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «Чёрт знает что такое!» И все согласились в том,

что как с быком ни биться, а всё молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода созданье человек: мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя. Какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая расторопная голова! — кричит толпа. — Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок, или просто фетюк, как называет Ноздрев.

Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его, или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!», послали за

доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна всё еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один бог ведает.

«Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело!» Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хо-

роших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на всё, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги. Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями; но мимо его, в глухой темноте, текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: «Где выход, где дорога?» Видит теперь всё

ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение, но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую простуду, флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфоры. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в дру-

гой раз, и всё это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки — то почтмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он дивился этому немало и пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк его, какие пошли писать леса!» И в самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одеванье живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавши из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Всё, что ни попадалось ему, приняло вид

смеющийся, и домы, и проходившие мужики, довольно, впрочем, сурьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум: вертелась в голове блондинка, воображенье начало даже слегка шалить, и он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собою. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами: «Не приказано принимать!»

— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.

— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.

— Вот тебе на! отчего? почему?

— Такой приказ, так уж, видно, следует, — сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да»; после чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары

гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, что ни попало, шушера какой-нибудь!»

«Непонятно!» — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты, но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил ему такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добраться, что такое разумел председатель и на счет чего могли относиться слова его, ничего не мог понять. Потом зашел к другим: к полицеймейстеру, к вице-губернатору, к почтмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина изо всего, что он усумнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать по крайней мере причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли всё это делается, или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки

велел себе подать чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев никак неожиданным образом.

— Вот говорит пословица: для друга семь верст не околица! — говорил он, снимая картуз. — Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю себе, зайду, верно, не спит. А! вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку! Где твоя трубка?

— Да ведь я не курю трубки, — сказал сухо Чичиков.

— Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! как, бишь, зовут твоего человека. Эй, Вахрамей, послушай!

— Да не Вахрамей, а Петрушка.

— Как же? да у тебя ведь прежде был Вахрамей.

— Никакого не было у меня Вахрамея.

— Да, точно, это у Деребина Вахрамей. Вообрази, Деребину какое счастье, тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему всё именье. Я думаю себе, вот

если бы эдакую тетку иметь для дальнейших! Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал… вот уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот уж где смех был! Перепендев, который был со мною: «Вот, — говорит, — если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!..» (между тем Чичиков от роду не знал никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я выиграл… Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, чёрт меня знает, никак не могу сердиться. Намедни с председателем… Ах, да! я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.

— Я делаю фальшивые бумажки? — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.

— Зачем ты, однако ж, так напугал их? — продолжал Ноздрев. — Они, чёрт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя, и зря, в разбойники и в шпионы… А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял.

— Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков.

— Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром… Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего… А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно сказать: чудо коленкор!

— Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку? что ты? — говорил Чичиков, выпуча глаза.

— Ну, полно, брат, экий скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел, изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать взаймы три тысячи. Нужны, брат, хоть зарежь!

В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он всё это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы он, приезд генерал-губернатора — всё это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж коли пошло на то, — подумал он сам в себе, — так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей».

Он постарался сбыть поскорее с рук Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем чтобы завтра же в шесть часов утра выехать из города непременно, чтобы всё было пересмотрено, бричка подмазана и прочее и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович» — и остановился, однако ж,

несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь… Всё это укладывалось как попало; он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими толстыми сапогами мокрые следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи раз-

ночинный, отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи да щей с городским мягким пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть и всякую дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесыванье в затылке.

Глава XI

Ничего, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал, — это была первая неприятность. Вставши, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и всё ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.

— Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.

— Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?

— Да время-то было… Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста,

шибень такой везде пошел… Да если позволите доложить: перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.

— Подлец ты! — вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился.

— Убить ты меня собрался? а? зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный, — а вот теперь к последнему часу и пригнал! когда уж почти начеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это прежде? Ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

— Знал, — отвечал Селифан, потупивши голову.

— Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось: и знал ведь, да не сказал!»

— А вот теперь ступай, приведи кузнеца, да чтоб в два часа всё было сделано. Слышишь?

непременно в два часа; а если не будет, так я тебя, я тебя… в рог согну и узлом завяжу! — Герой наш был сильно рассержен.

Селифан оборотился было к дверям с тем, чтоб идти выполнить приказание, но остановился и сказал: «Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец: он такой конь, что просто не приведи бог, только помеха».

— Да! вот пойду, побегу на рынок продавать!

— Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид казистый, а на деле самый лукавый конь; такого коня нигде…

— Дурак! когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассужденья! Вот посмотрю я: если ты мне не приведешь сейчас кузнецов, да в два часа не будет всё готово, так я тебе такую дам потасовку… сам на себе лица не увидишь! Пошел! ступай!

Селифан вышел.

Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около четверти часа с лишком провозился он с кузнецами, покамест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные

подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на Страшный суд, но кузнецов ничем не пронял; они совершенно выдержали характер: не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо двух часов целых пять с половиною. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане всё уложено и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, видит из окна проходящих, плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще более растравляет нерасположение духа бедного неедущего путешественника. Всё, что ни есть, всё, что ни видит он: и лавчонка против его окон, и голова старухи, живущей в супротивном доме, подходящей к окну с коротенькими занавесками, — всё ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все,

что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец, и желанная минута настала: всё было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники кузнецы отправились, пересчитав полученные целковые и пожелав благополучия. Наконец и бричка была заложена, и два горячие калача, только что купленные, положены туда, и Селифан уже засунул кое-что для себя в карман, бывший у кучерских козел, и сам герой наконец при взмахивании картузом полового, стоявшего в том же демикотоновом сюртуке, при трактирных и чужих лакеях и кучерах, собравшихся позевать, как выезжает чужой барин, и при всяких других обстоятельствах, сопровождающих выезд, сел в экипаж, — и бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, даже надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава те, господи!» — подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыстнул кнутом; к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, зало-

жил за спину себе кожаную подушку, притиснул два горячие калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством глядел он на домы, стены, забор и улицы, которые также, с своей стороны, как будто подскакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожею и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших и ехавших, а барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках: за гробом шли, снявши шляпы, все

чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором; может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнесши от души: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем

вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку тебя всего только и было, что густые брови». Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника».

Бричка между тем поворачивала в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: «такой-то артиллерийской батареи», зеленые, желтые и свежо разрытые чер-

ные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны, как мухи, и горизонт без конца… Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющом и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно всё в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня? Что в ней, в этой

песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чу-

десное в слове: дорога! как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух… покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмешься к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся… как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снеги», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад, луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души — всё спит. Один-одинёшенек разве где-нибудь в окошке брезжит огонек; мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь! небесные силы! Какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно,

звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь, и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок — и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче, легче!» — слышишь голос; телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке… Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. Но

и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы.

А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только изредка назад, желая увериться, точно ли выехал из города; но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно, и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою, посматривал только направо и налево, и город N. как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его когда-нибудь давно, в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор, признается, этому даже рад, находя таким образом случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни, то, наконец, тысячи тех мелочей, которые кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а покамест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но теперь отложим совершенно всё в сторону и прямо займемся делом.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами

герой понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы! всё это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека. Но… может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга перед живым словом! Подымутся русские движения… и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов… Но к чему и зачем

говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек всё-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку; потому что праздно вращается на устах слово: «добродетельный человек»; потому что обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем чем попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, и остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — бог ведает. Лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пиголицами,

взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «Не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «Опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная

картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни всё меняется быстро и живо: и в один день с первым весенним солнцем и разлившимися потоками отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сороки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сороке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорока бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред старень-ким домиком и садиком позади его, низеньким,

маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, всё еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, всё пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку, эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый

тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сороке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив, в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле

тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно.

Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который уже попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевельнуться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! — говорил он. — Я тебя

знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь.

Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это всё вздор, — говаривал он, — я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне уж лучше пей, да дело разумей», и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит, что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там, или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во всё время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался

ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во всё время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами *за примерное прилежание и благонадежное поведение*. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сюртука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишка с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить, наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленой, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непо-

корность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих: слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привел Бог заплакать, — произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: — Эх, Павлуша! вот как переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул…»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать, — словом, отцовское наставление: «береги и копи копейку» пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег, им не владели скряжничество и скупость.

Нет, не они двигали им, ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками, экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды, вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно всё это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И всё, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно было у него желанье скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция! Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, всё победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни

душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностию и неблагообразием. У иных были лица точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотребленьем никаких крепких напитков. Но при всем том трудна

была его дорога: он попал под начальство уже престарелому повытчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости; вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чем-нибудь участье, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту; но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его без всякой резкой неправильности не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, чёрт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел вни-

мательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завел новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его шапку, пресквернную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, — но всё это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался как с невестой, повытчика звал папенькой и целовал его в руку; все положи-

ли в палате, что в конце февраля, перед Великим постом, будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и через несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком; потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чёртов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор всё пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Всё оказалось в нем, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным

образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток: преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси, «нет, нет, — говорил он с улыбкой, удерживая его руки, — вы думаете, что я… нет, нет. Это наш долг, наша обязанность, без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же всё будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, всё будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот наконец человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой — не приносят дела на дом; на третий тоже. Он в канцелярию — дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах, извините! — говорил Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки, — у нас было столько дел; но завтра

же всё будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно!» И всё это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель берется за ум: «Да полно, нет ли чего?» Выведывает, говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я готов четвертак, другой». — «Нет, не четвертак, а по беленькой». — «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь, — отвечают ему, — оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет по начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит, новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые, облагороженные обращения чиновников. «Прежде было знаешь по крайней мере, что делать: принес правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься; чёрт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство!» Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да пи-

саря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения.

В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания: но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержанья и неумолимого своего самоотверженья. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния,

и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже; уже…

Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов: всё распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает, иногда даже просто не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. Но, так как всё же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских про-

делок, то чрез несколько времени, посредством правдивой наружности и уменья подделаться ко всему, втерлись к нему в милость и другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует, и хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Всё, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по нескольку тысяч капиталу. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управленье генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала

какая-нибудь мысль, то она там была всё равно что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Всё, что мог сделать умный секретарь, было уничтоженье запачканного послужного списка, и на то уже он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было.

— Ну, что ж! — сказал Чичиков, — зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать. — И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Всё как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и всё бы было благородно. Никогда

не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где всё отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил всё герой наш,

переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, всё еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником.

Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно всё: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и всё это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь нимало ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?», или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами», или: «Позвольте, вот я ножичком немного пораспорю подкладку вашей шинели», и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, плат-

ки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был чёрт, а не человек: он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, всё еще в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивле-

ния и не дойти наконец до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение всё, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы, но теперь… теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия

начались блистательно: читатель, без всякого сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуй он сам в сем предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Чёрт сбил с толку обоих чиновников: чиновники, говоря попросту, перебесились и перессорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему так же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!»

И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник, хоть и сам пропал, но таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали всё, что у них ни было, и всё это разрешилось вдруг, как гром, над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник, по русскому обычаю, с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребил

все тонкие изворо́ты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящею дела, где всунул деньжонку, — словом, обработал дело по крайней мере так, что отставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему; на всё это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека — кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек, вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там

заклёкнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость неодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, пред которым ничто деревянное терпенье немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на всё то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не

ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? „Вот, — скажут, — отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!“»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно всё, что к нему поближе: масло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, — словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил

себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь.

И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыканье в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на всё. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян.

Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку всё состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как извест-

но, не может быть даже взята простая справка или выправка, всё же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку), — итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок… «Да ведь они по ревизской сказке числятся?» — сказал секретарь. «Числятся», — отвечал Чичиков. «Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь, — один умер, другой родится, а всё в дело годится». Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, я Аким-простота, — сказал он сам себе, — ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное: недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует; всё полезло в Петербург служить: имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачивают-

ся с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый, уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой раз так случится, что с иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное то хорошо, что предмет-то покажется совсем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй.

Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? Я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское». И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни

говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего и прочего, — словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу; это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если уж точно падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого теченья и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в

столицу, всегда как-то бледен, сначала всё серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поимянно от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же

он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название *не очень чистых.* Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро всё превращается в человеке: не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и

святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятерится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, не умолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: всё равно, в мрачном ли образе или пронесшись светлым явлением, возрадующим мир, — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольные героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, — и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, пред глазами: зато, по окончании чтения, душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, — говорите вы, — к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе неутешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? — говорит помещик приказчику. — Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве

нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру, с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устроивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевши, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это всё, что ни описано здесь, это всё наше, хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слушать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет

мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что. Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь, — говорил он, ходя по комнате, — зверь родится нагишом.

Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рожденьем зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: всё или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве всё, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя, даже собственную кровать в

спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, он был доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем: «Помилуй, батюшка барин Кифа Мокиевич, — говорила отцу и своя и чужая дворня, — что это у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!» — «Да, шаловлив, шаловлив, — говорил обыкновенно на это отец, — да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то, вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан вот нет же, отец! отец, чёрт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! — Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. — Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его».

Иронизируя над формальным, шаблонным патриотизмом, автор ввел в текст притчу о Кифе Мокиевиче и Мо-

кии Кифовиче, комически переставив их имена. Первый проводил время в пустых размышлениях, второй – в бесцельной деятельности. Притча имеет обобщающий характер. Оба героя в своих крайностях отражают изображенные в поэме типы: первый напоминает Манилова, второй – Ноздрева. Путь духовно здорового человека, истинного патриота, иной: это путь осмысленного и созидательного труда на благо Отечества.

Притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче иносказательно указывает на две основные особенности писательского призвания Гоголя. Кифа (с сирийского языка – камень) – один из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом. Это также имя первоверховного апостола Петра (с *греч.* тоже – камень), проповедника христианства. Мокий (с *греч.* – осмеивающий) – имя из православных святцев. Писатель осмыслил свое творчество как соединение сатиры и проповеди.

И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские

свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубокоустремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!»

И после таких слов с удвоившеюся гордостию обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуту уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во всё время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Чита-

телю сполагоря, рассердится ли на него Чичиков или нет; но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

— Эхе-хе, что ж ты? — сказал Чичиков Селифану, — ты?

— Что? — сказал Селифан медленным голосом.

— Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей, а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли как пух легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!», плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то

неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Чёрт побери всё!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен

винтом, а наскоро живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит чёрт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает

ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивают и дают ей дорогу другие народы и государства.

В финале I тома поэмы Россия сравнивается с тройкой – русской упряжкой из трех лошадей, символом нашей страны. Писатель размышляет об особом духовном и культурном ее пути, ведь другие страны и народы «дают ей дорогу». Однако вопрос «Русь, куда ж несешься ты?» остается без ответа. Данное лирическое отступление перекликается со знаменитым стихотворением Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять…» (1866), заканчивающимся строкой: «В Россию можно только верить».